И НЕТ ЛЮБВИ ИНОЙ...
АНАСТАСИЯ ТУМАНОВА
любовные тайны

Анастасия Туманова

И нет любви иной…

Серия «Цыганская сага», книга 4

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2874775
И нет любви иной…: Эксмо; М.; 2011
ISBN 978-5-699-54187-4

Аннотация

Илья никогда не был верным мужем, но Настя каждый раз его прощала – знала, что он любит ее и никогда не бросит детей. Но его увлечение Маргиткой, подругой дочери, было похоже на болезнь. Настя не стала его удерживать, да и вряд ли это было бы возможно – Илья словно потерял рассудок.

Настя по-прежнему красива, на нее заглядываются мужчины, князь Сбежнев опять, как когда-то в молодости, сделал ей предложение. Тогда она отказала князю, сбежала с Ильей. Может быть, теперь пришло время согласиться, забыть о бедности, трудной жизни в таборе?

Никто не сомневается, что она станет княгиней. Никто, кроме самой Насти.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 38
Глава 3 85
Конец ознакомительного фрагмента. 113

Анастасия Туманова
И нет любви иной…

Глава 1

Вечернюю Москву заливало дождём. Апрель начался тёплыми ливнями, за несколько дней согнавшими остатки снега, и целый месяц в садах и парках столицы шелестели дожди. По улицам бежали ручьи, с крыш и веток капало, голубые фонари на Тверской и Арбате казались размытыми пятнами в туманных нимбах, так же мутно светились окна домов, трактиров и ресторацій. Даже ночи стояли тёплые и влажные, в воздухе чувствовалось близкое лето, у уличных кошек был загадочный вид.

Ресторан Осетрова в Грузинах светился всеми лампами. Десятка полтора пролёток с поднятыми, мокрыми от дождя верхами выстроилось вдоль мостовой. Извозчики ёжились от сырости, прислушивались к доносящемуся из ресторана цыганскому пению. Цыганский хор Васильева со времён второй турецкой кампании считался главной достопримечательностью Грузин. И хотя старый дирижёр Яков Васильев год назад умер, оставив дело племяннику, хор по-прежнему назывался москвичами «васильевским». Цыгане, певшие у Осетрова, могли поспорить голосами с лучшими арти-

стами «Яра» и «Стрельны», примадонн Машу, Анну Снежную, Елену Степановну знала вся Москва. Но самой известной, «несравненной», «божественной» была дочь покойного дирижёра Настасья Яковлевна, знаменитая Настя, «степная звезда романса», как писали в газетах. «На Настю» приезжали целыми компаниями, слушать её первым делом вели приехавших из провинции знакомых, о ней складывались стихи, специально для неё сочинялись романсы. Не было москвича, который, услышав имя Насти из Грузин, не зажмурился бы мечтательно, не прищёлкнул бы языком и не протянул бы со вздохом: «Да-с, Настька… Богиня-цыганка!»

Сквозь залитые дождём стёкла ресторана смутно был виден зал – столы под камчатными скатертями, натёртый паркет, огоньки свечей, хрусталь. На расположенных полукругом стульях сидели певицы в чёрных и белых платьях, с цветными шалями через плечо плясуньи в лёгких шелковых юбках и монистах. За спинами цыганок стояли гитаристы в старомодных казакинах тёмно-синего сукна. Дирижёр Митро Дмитриев, знаменитый Дмитрий Трофимыч, – седой как лунь пятидесятилетний цыган с подтянутой широкоплечей фигурой, со скуластым лицом и узкими восточными глазами, за которые он и получил прозвище Арапо, – стоял перед хором. При взгляде на певиц можно было заметить, что по крайней мере половина молодых солисток – дочери хоревода, такие же темнолицые, широкоскулые и узкоглазые. Жена Митро, Елена Степановна, красивая, полная цыганка с

добродушным лицом, сидела в центре. Она считалась одним из лучших альтов хора, и от её густого голоса дрожали свечи на столиках. А старые москвичи помнили ещё время, когда Елена Степановна была Илонкой, девчонкой, похищенной Митро из табора венгерских цыган, лучшей плясуньей Москвы, под ноги которой летели ассигнации, кольца и броши.

Митро взял гитару на отлёт, быстро, по-молодому обернулся к залу. Сдержанно улыбнулся на аплодисменты, попросил тишины и коротко объявил:

– Господа, Настя!

Зал взорвался новой бешеной волной аплодисментов. Они усилились втрое, когда с одного из стульев поднялась женщина в чёрном платье.

Солистке хора недавно исполнилось тридцать восемь лет. Прекрасно сохранившаяся фигура Насти казалась ещё стройнее в строгом платье с узким лифом, выгодно оттенявшем смуглое лицо певицы. К корсажу была приколота бледная роза. В высокой, с воронёным отливом причёске Насти блестел бриллиантовый гребень. Длинные изумрудные серьги бросали искры на спокойное строгое лицо, по которому сразу становилось ясно, как ослепительно хороша была в юные годы примадонна хора. Тонкие брови, внимательный и грустный взгляд тёмных глаз, прямой нос, строгий рисунок губ, на длинной шее – бархотка с алмазной капелькой. В по-

лумраке почти незаметны были два неровных шрама, пересекающие левую щёку Насти. Только они да скрытая горечь в улыбке портили великолепную красоту певицы.

Настя стояла молча, не двигаясь. Дождавшись полной тишины, она обернулась к хору, и из заднего ряда вышел со скрипкой её старший сын, которому недавно исполнился двадцать один год. Это был высокий парень с резковатыми чертами, похожий на мать лишь спокойным взглядом тёмных, чуть раскосых глаз. Он встал за спиной Насти. Слева подошёл Митро с гитарой. Певучий звук скрипки в тишине оторвался от смычка и поплыл в зал. Осторожно, словно боясь нарушить течение грустной мелодии, мягким перебором вступила гитара. Настя взяла дыхание, усталым, «сломанным», как писали в газетах, движением положила руку на грудь.

Рука судьбы чертит неясный след…
Твоё лицо я вижу вновь так близко.
И веет вновь дыханьем прошлых лет
Передо мной лежащая записка.
Не надо встреч, не надо продолжать!
Не нужно слов – прошу тебя, не стоит.
А если вновь от боли сердце ноет,
Заставь его забыть и замолчать…

Тишина в зале стояла мёртвая. Ни за одним столиком не стучали приборы, не звенели, соприкасаясь, бокалы, не слы-

шались разговоры. Даже ловкие половые застыли, кто у столика, кто у буфета, со своими салфетками и подносами. Сам хозяин, Осетров, старик с седой, аккуратно подстриженной бородой и безразличными глазами, вышел из-за буфетной стойки и, заложив большие пальцы рук за проймы шёлкового жилета, слушал. Лицо певицы оставалось спокойным и серьёзным, ресницы её были опущены. Чистый голос без малейшего усилия уносился на самые отчаянные верхи и падал оттуда на низкие, почти басовые регистры. И только к концу романса Настя подняла ресницы, и в зале увидели, как влажно блестят её глаза.

За одним из столиков тихо всхлипнула женщина. Какой-то молодой человек, отодвинув стул, поспешно вышел из зала. Закончив романс, Настя дождалась последней горькой ноты скрипки, опустила голову. И подняла взгляд, лишь когда зал взорвался бурей оваций.

– Настя! Ура, Настя! Несравненная! Божественная! Чаровница! – кричали восхищённые слушатели.

Певица, сдержанно улыбаясь, раскланялась. Несколько мужчин подошли было с цветами, но их оттеснил сутулый человек лет сорока в измятом гороховом сюртуке, с брюзгливо изогнутым ртом и проплешиной в седых вьющихся волосах.

– А, Владислав Чеславыч, добрый вечер! – с улыбкой поприветствовала его Настя. – Что-то давно вас видно не было, не хворали?

– Дела, Настасья Яковлевна, всё дела… Издательство требует рукопись, день-деньской корплю над бумажками… Пришёл к вам с великой просьбой. Вот, не откажетесь ли взглянуть?

Настя приняла свёрнутый лист бумаги и вопросительно посмотрела на мужчину. Тот пояснил:

– Текст нового романса. Сделайте милость, взгляните на досуге. Если пустяк и пошлость – так и скажите, я ваш старый поклонник и не обижусь. А если, чем чёрт не шутит, не совсем дурно, то…

– У вас совсем дурно не бывает. – Настя улыбнулась, пряча бумагу в рукав. – Непременно взгляну завтра и Митро покажу. Он на вас до сих пор за «Сломанную розу» не намолится, второй сезон на бис поёт.

Митро, следивший за разговором, сделал сестре чуть заметный знак: долго беседовать во время выступлений не полагалось. Настя, извинившись, вернулась к хору и села на своё место. Цыгане запели весёлую «По улице мостовой».

Владислав Чеславович подошёл к столику в дальнем углу, где его дожидался, нетерпеливо вертя в пальцах вилку, юноша-брюнет с болезненным худым лицом.

– Приняла?! – выпалил он, едва Владислав Чеславович уселся за стол.

– Разумеется, – усмехнулся тот. – Только не обольщайся, друг мой. Настасья Яковлевна с первого взгляда поймёт, что текст романса – не мой. Как бы мне ещё не пришлось

виниться перед ней за этот обман… Но ты не беспокойся, романс более чем сносный. Если Настя согласится принять его к исполнению, ты загремишь на всю Москву. Лично меня смущает лишь строчка «И бешеный разлом испорченной души». Прямо-таки разит декадентством, причём пошленьким, а поэзия романса требует…

– Какая всё же непостижимая женщина, Заволоцкий, не правда ли? – торопливо перебил его молодой человек, устремив взгляд на сидящую среди цыганок Настю. – Я понимаю, почему по ней до сих пор сходят с ума. От неё так и веет загадкой, тайной древних степей, беззвёздными ночами…

– Вот как Брюсов вас всех испортил, – со вкусом отпивая из бокала портвейн, убеждённо сказал Заволоцкий. – Все эти степные тайны и беззвёздные ночи – досужая выдумка наших стихотворцев. «Сливаются бледные тени, видения ночи беззвёздной, и молча над сумрачной бездной качаются наши ступени…» Тьфу! Я чуть не умер, когда прочёл, а ведь это было пять лет назад! То, что печатается сейчас, ещё хуже.

– Ёрничаете, как всегда! – обиженно проговорил молодой человек, но Заволоцкий лишь отмахнулся и мечтательно произнёс:

– А вот поверь мне, Костя, что жизнь этой цыганки достойна того, чтобы её описывали Пушкин, Тургенев, Толстой… Молодой Толстой, разумеется, а не нынешний слабоумец с его насквозь фальшивым «Воскресением»… И не спорь! Вы по молодости ещё не способны этого понять, а

вот погоди, улягутся щенячьи восторги перед яснополянским старцем, вот тогда и…

– Вы хотели рассказать о Настасье Яковлевне, – робко напомнил Костя.

– А? Да… Видел бы ты её в молодые годы, мой милый! Я знавал её шестнадцатилетней, и по ней ещё тогда сходила с ума вся Москва! Некий князь даже, потеряв голову, звал под венец, но судьба решила иначе. Настя сбежала в табор за женихом.

– Её муж – таборный цыган?! – поразился юноша. – Вот никогда не поверил бы!

– Бывший… Бывший муж, мой милый. Кстати, история с мужем – тоже сплошная неясность. – Заволоцкий задумался. – Илью ведь я тоже имел честь знать. Колоритнейший был образец, вылитый князь тьмы! Совершенно таборная душа, лошадник, кажется, даже конокрад, невесть каким ветром занесённый в хор… Но пел, кромешник этакий, божественно! В своём роде не хуже самой Насти, редкой красоты тенор, почти итальянской школы бельканто, московские ценители просто разум теряли! Настя тоже не устояла. Да-с. Роковая была любовь и несчастная…

– Он посмел её бросить?!

– Ну-у, не знаю, кто там кого бросил. Они прожили вместе много лет, кочевали с табором, а лет шесть назад снова объявились в Златоглавой. С выводком детей, разумеется. А потом что-то произошло, и вот вам пожалуйста – Настасья

Яковлевна с детьми в Москве, в хоре, а Илью как ветром сдуло. И уже сколько времени о нём ни слуху ни духу.

– Что-то произошло… – задумчиво повторил Костя. – Странно это, право. Неужели он нашёл женщину лучше? Трудно поверить.

– Мне тоже, но… Вообще, очень туманная история. Цыгане, я думаю, что-то знают, но этот народ не любит выносить сор из избы. Я имел нахальство несколько раз заговаривать с Настасьей Яковлевной о её супруге – и был очень вежливо, даже с почтением, поставлен на место… Впрочем, Настя несчастной ни минуты не выглядела. Вернувшись, тут же запела «Записку», «Розы в хрустале» – и снова стала первой солисткой! И заметь, даже эти ужасные шрамы ей не помеха! Стоит запеть – и снова красавица, снова богиня…

– А откуда у неё шрамы?

– Печать таборной жизни… Я про эти отметины много слышал, но всё, по-моему, враньё. То ли Илья резанул её из ревности, то ли разнимала она какую-то драку… Не знаю. Эта женщина полна загадок. Так что бросай своё декадентство с бешеными и испорченными душами и пиши роман об известнейшей московской певице. Если хочешь, я тебя ей представлю.

– О, это было бы чудесно! – вспыхнул Костя. – Но… если Настасья Яковлевна не была откровенна с вами, старинным другом…

– Разумеется, и тебе ничего не расскажет, – усмехнулся

Заволоцкий. – Да это и не надобно. Романтических подробностей ты великолепно навыдумываешь и сам. Вот ведь тоже парадокс – кто бы ни взялся писать о цыганах, всё выходят африканские страсти, начиная с Пушкина и кончая этим, как бишь его… Пешковым? Впрочем, он теперь, кажется, Горький. Не поверишь, я читал его нашумевшего «Макара Чудру» и бранился, как извозчик в участке, потому что нет на свете менее расположенного к романтизму народа, чем цыгане. Они, мой друг, весьма практичны, расчётливы, любят деньги и – земные люди до мозга костей.

– Но если это так… – медленно начал молодой человек.

– Тогда не о чем и писать, верно? – с улыбкой закончил Заволоцкий. – Возможно… Да, лишь одно я знавал исключение из этого корыстного племени – Настасья Яковлевна. Была и есть гордячка. Ручаюсь, с какой бы красоткой ни сбежал её муж, он остался в проигрыше.

Хор закончил выступление и встал. Цыган провожали аплодисментами, восторженными возгласами. Насте поднесли четыре корзины цветов, и она попросила полового отнести их в артистическую. У неё одной из всего хора была отдельная комната для отдыха, и Настя ушла туда, вежливо, но твёрдо оставив толпу поклонников за дверью.

Здесь примадонна хора аккуратно положила на спинку стула шаль, смахнула с лица выбившуюся из причёски прядь волос, опустилась на табурет возле старого потускневшего зеркала. Долго сидела молча, склонив голову на руки и, каза-

лось, задумавшись. В такой позе её и застал вошедший Митро. Некоторое время он колебался, стоя в дверях и думая – не уйти ли, но в конце концов негромко окликнул:

– Настька…

– Ну? – не поворачивая головы, спросила она. Митро подошёл, встал за спиной сестры. Помедлив, положил ладонь на её локоть.

– Ну, что ты?

– Ничего, – помолчав, сказала Настя. – Знаешь ведь, не люблю эту «Записку» петь. И нот моих нет, и слова глупые.

– Глупые не глупые, а господам нравится… Там князь Сбежнев к тебе просится.

– Сергей Александрович?! – Настя обернулась с улыбкой. С груди её, отколовшись, упала на пол бриллиантовая брошь, но Настя не заметила этого, и украшение поднял Митро.

– А почему он сюда приехал? Поди скажи, пусть на Живодёрку к нам отправляется, я сейчас на извозчика – и домой, там и поговорим… Бог мой, я его полгода не видала!

– Я ему предлагал, но он торопится, кажется. Ну что – примешь?

– Спрашиваешь! Зови скорее!

Митро вышел. Настя торопливо повернулась к зеркалу, но успела лишь поправить волосы и водворить на место брошь. Дверь, скрипнув, открылась снова, и в комнату, слегка прихрамывая, вошёл князь Сбежнев.

Князю в эту зиму сравнялось пятьдесят пять, но возраст,

казалось, не коснулся стройной и подтянутой фигуры героя турецкой войны. В чёрных гладких волосах князя было мало седины, выбелившей лишь виски, и только возле чуть сощуренных глаз прибавилось морщин. Войдя, он смущённо, как мальчик, остановился у порога. Настя с улыбкой встала князю навстречу и протянула ему обе руки.

– Сергей Александрович, ну, здравствуйте, здравствуйте, князь вы мой прекрасный! Где же пропадали так долго? Ну, как Петербург, как дела ваши министерские?

– Петербург стоит на своих болотах, дела – лучше не надо, – улыбнулся князь, но улыбка эта была грустной, и Настя участливо опустила пальцы на рукав его сюртука. Князь, бережно взяв её руку, поцеловал запястье.

– Настя, я сейчас сидел в зале, слушал тебя. Это какое-то волшебство! Ты совершенно не меняешься, ma chere. Видит бог, как будто вчера я слушал тебя в доме графов Ворониных… Помнишь?

– Помню. Столько лет прошло… Может, и пора уж бросить вспоминать?

Настя сказала это полушутливо, но князь покачал головой:

– Бог с тобой… Это самые лучшие мгновения моей молодости. И захочу забыть – не сумею.

Настя улыбнулась. Спохватившись, указала князю на стул возле стола. За стеной в зале снова запела скрипка. Вслушиваясь в весёлую мелодию и перебирая изумрудный браслет

на запястье, Настя спросила:

– Митро сказал, вы спешите. И в гости к нам на Живодёрку ехать отказались… А могли бы по старой памяти!

– И могу, и хочу. Но… – Князь вынул из жилетного кармана мелодично зазвонивший брегет. – Через час я должен быть на вокзале.

– В Петербург возвращаетесь? Правду говорят, что вас помощником министра назначают? И что миссия какая-то в Париже?

– Бог мой, откуда эти сведения? – Князь рассмеялся, но было видно, что он немало изумлён. – Похоже, в таборе ты всё-таки выучилась гадать.

– И по сей день толком не умею. Так, слух прошёл… Сами знаете, Москва – деревня, ничего не скроешь, а у нас на Живодёрке всякие люди бывают. Теперь, наверное, совсем не скоро в Москву вернётесь?

– Собственно, поэтому я и приехал к тебе.

Настя подняла глаза от браслета, пристально взглянула на Сбежнева.

– Настенька, эти слухи верны. Моя карьера сейчас находится на взлёте, и от предложения, сделанного министром, я не вижу смысла отказываться. Ты права, теперь ездить в Москву так часто, как прежде, я не смогу. А если придётся отбыть в Париж, мы вовсе расстанемся надолго. И поэтому…

Князь, прервавшись на полуслове, вынул из кармана и положил на потрескавшуюся столешницу футляр из чёрного

бархата. Настя, не прикасаясь к круглой коробочке, вопросительно смотрела на князя. Тот, помедлив, сам открыл футляр, и из его глубины сверкнула голубая искра бриллианта. Князь достал кольцо и положил его на стол.

– Настя, я прошу тебя стать моей женой.

Настя закрыла глаза. Слабо, словно через силу улыбнувшись, прошептала:

– Снова, Сергей Александрович?

– Да, я рискую. Итак?..

Настя встала, медленно отошла к тёмному окну, на котором свет лампы и капли дождя рисовали картины. Мутные, расплывчатые картины из далёкого прошлого. Шестнадцатилетняя девочка-цыганка из хора в Грузинах. Князь, покорённый её красотой и голосом. Сорок тысяч – выкуп в хор за невесту, сговор с отцом, подготовка к свадьбе… Как давно это было!

– Нет… Нет. Не могу я, Сергей Александрович.

– Но отчего? – Князь подошёл к Насте. Встал за её спиной, не решаясь обнять. Настя сама взяла его руку, прижалась к ней губами. Тихо сказала:

– Боже… Сергей Александрович, дорогой вы мой, да сами-то подумайте, что с вашей карьерой после этого станется! У помощника министра жена из цыганского хора! Над вами весь Петербург потешаться будет!

– Я вырву все языки! – взорвался князь.

– И министру тоже? – серьёзно спросила Настя, и Сбеж-

нев невольно улыбнулся.

– Ну… для России это было бы невосполнимой утратой… Что ж, в мои годы карьера – не главное удовольствие. С радостью брошу чиновный Петербург и вернусь на луковые грядки родного Веретенникова. Кстати, ты умеешь варить вишнёвое варенье? Нет? Ну так и быть, стану варить сам. Помнится, Арефьевна меня учила, может, помню ещё…

– Не шутите, Сергей Александрович. – Настя выпустила руку князя, прошлась по комнате. – А о детях моих вы забыли? Их ведь пятеро при мне сейчас, а женаты только Гришка и Петя. Что, я всю свою ораву вам на шею посажу?

– Настя, но ведь мальчики уже взрослые…

– Какие они взрослые? Ваньке одиннадцатый пошёл…

Князь сделал несколько шагов по комнате и остановился у окна. Не поворачиваясь лицом к Насте, вполголоса произнёс:

– Позволь мне всё-таки не считать это окончательным отказом. Я не тороплю тебя. Я ещё буду в Москве ближе к лету, тогда и поговорим. Ты подумаешь обо всём и, может…

– Хорошо… Хорошо. Подумаю, – отрывисто, не глядя на Сбежнева, сказала Настя. – И, пожалуйста… оставьте меня сейчас. Не сердитесь.

Князь поднялся, молча вышел. На столе осталось лежать кольцо с голубым бриллиантом. Настя бездумно катала его пальцами по столешнице. За этим занятием её и застал заглянувший в комнату Митро. Он подошёл к столу, взял из

рук Насти кольцо, посмотрел на свет камень, присвистнул. Утвердительно произнёс:

– Опять замуж звал.

– Да.

– А ты?

Настя не ответила. Митро, швырнув кольцо на стол, в сердцах бросил:

– Ну что за дура, боже праведный!

– Оставь… – поморщившись, сказала Настя, но брат не унимался:

– Дурой всю жизнь была и дурой помрёшь! Ты хоть бы подумала, как дальше жить придётся! Мальчишки твои переженятся, кому ты нужна будешь? Кто к тебе лучше Сбежнева посватается? Императора всероссийского, что ли, дожидаешься? Или Илью, этого поганца таборного?!

– Хватит.

– Чего «хватит»? Чего «хватит»?! – схватился за голову Митро. – Это ты детям своим ври, что он по делам уехал, да бабам нашим выдумками рты затыкай! А я, слава богу, не слепой и не дурак! Он от тебя с молодой сбежал, от детей сбежал, болтается чёрт знает где, а ты тут в монашки готовишься! Ну, давай, давай, пхэнори[1], закапывай себя в могилу! И из-за кого?! Он подошвы твоей не стоит, я это всю жизнь говорил! Хоть бы гордость какую поимела, дура ты кромешная, не то…

[1] Сестрёнка.

– Не смей! – резко поднявшись, отчеканила она. – Клянусь, ещё слово про Илью – в тот же день уеду из Москвы. Сам будешь «Записку» петь.

– Да я же…

– Не твоё это дело. Не твоё, запомни.

– Я знаю… Знаю. – Митро подошёл, взял сестру за руку, покаянно сжал её пальцы. – Ну, Настька… Ну, не буду больше. Я ведь для тебя лучше хочу…

– Оставь Илью в покое, слышишь? – Настя, не глядя на брата, высвободила руку. – Я сама его отпустила тогда, сама – ясно тебе? И ни ты, ни кто другой судить его не будет, пока я жива. А насчёт того, что с молодой ушёл… Чья бы корова мычала!

– Это ты про что?! – вскинулся Митро.

– А про то. Знаю я, откуда ты по утрам приходишь. Это ты Илоне рассказывай, что у Деруновых в карты играешь, а она пусть притворяется, что верит… Кобель старый. Внуков полный мешок, а всё к девкам шляешься.

– Тебе-то что? Я, слава богу, десятерых детей поднял и в люди вывел! На чужих не бросал! И жене на шею не оставлял!

– Мы с Ильёй тоже всех вывели, – сердито проговорила Настя. – Вспомни, когда Илья ушёл, Гришка уже жениться собирался. И это ты врёшь, что они у меня на шее сидят. Смотри, Гришка с женой больше меня в хор приносят! Смотри, Петька жену взял – прелесть, а не плясунья, пол под но-

гами горит! Смотри, что Илюшка с Ефимом на гитарах выделывают! Да это не они у меня, а я у них на шее сижу!

– Ну-у, хватила… – Митро снова взял в руки кольцо с голубым камнем, повертел в пальцах, вздохнул: – И почему мне никто брульянтов не дарит, а? Ладно, больше уж орать не буду. А про Сбежнева – подумай. Как следует подумай. Другого-то раза, может, и не случится.

Настя не ответила.

* * *

Домой, на Живодёрку, цыгане вернулись под утро. Ещё не светало, купола церкви Великомученика Георгия смутно темнели на фоне ночного неба, но Настя, войдя в свою комнату, не стала зажигать лампы. С нижнего этажа, из залы, некоторое время ещё доносились сонные голоса цыган, но вскоре смолкли и они, в доме наступила тишина. Настя, не раздеваясь, села за стол. Не спеша открыла деревянный, выложенный бархатом футляр с гитарой, вынула маленькую, с изящным тонким грифом «краснощёковку», положила её на колено. Чуть коснувшись струн, вполголоса напела:

– Тумэ, ромалэ[2], тумэ, добры люди…
Пожалейте вы душу мою…

[2] Вы, цыгане.

Это была песня Ильи. Он всегда исполнял её со старшей дочерью, с их слепой Дашкой, которая теперь тоже бог ведает где…

Настя закрыла глаза. Привычно вызвала в памяти тёмное, некрасивое лицо мужа, жёсткие черты, чёрные, чуть раскосые, диковатые глаза с голубыми белками. Двадцать два года прошло с того осеннего дня, когда брат и сестра Смоляковы, Илья и Варька, впервые появились в московском хоре – пахнущие дымом, дикие, насторожённые, готовые в любую минуту послать всё к чёрту и уехать обратно в табор… Почему, за что Настя полюбила Илью – таборного цыгана, конокрада, лошадника, так непохожего на тех, кто до сих пор окружал её? Почему пошла за ним девчонкой, не оглядываясь, не боясь ничего, бросив Москву, славу, поклонников, жениха-князя? Почему терпела всю тяжесть таборной жизни, почему ничуть не испугалась за себя, кинувшись однажды разнимать драку между цыганами-конокрадами и казаками, закрыв собой мужа и получив эти борозды, изуродовавшие лицо? Почему никогда ни о чём ни на минуту не пожалела? Что такое оказалось в том некрасивом молчаливом парне с сумрачным взглядом из-под сросшихся бровей? Может, он взял её голосом – своим хватающим за душу, невероятной красоты голосом, какого Настя не слышала больше ни у кого? Может, тем, что Илья любил её и как умел берёг от тяжести кочевой жизни, старался не обидеть, ни разу не поднял на неё руки? Другие женщины… Да, у Ильи они бы-

ли. Но и с этим Настя смогла смириться, чувствуя в глубине души, что Илья никогда не оставит семью. Она была уверена в этом… и ошиблась.

Настя отложила гитару. Закрыла глаза, вспоминая то грозовое, душное лето, тот красный от падающего за церковь солнца вечер, и эту самую комнату, и отпечатки заката на стене, и застывшее лицо мужа. Тогда Настя собрала все силы, чтобы сказать ему: «Уходи». Из-за Маргитки, красавицы плясуньи с недобрыми зелёными глазами. Из-за семнадцатилетней девочки. Из-за своей племянницы, приёмной дочери Митро. Целое лето девчонка была любовницей Ильи, целое лето они встречались на задворках самого запущенного в Москве Калитниковского кладбища. И позже Настя поняла: оба совсем ошалели от любви, раз пошли на такое. Ведь Илье тогда стукнуло под сорок, и у них с Настей росло семеро детей, и старшую, Дашку, слепую красавицу, уже просватали.

Дашка не была родной дочерью Насти. Двухмесячную девочку подбросили в корзине к порогу их дома, и Илья даже не стал отпираться от отцовства: до того был похож на него этот коричневый, орущий, сучащий ножками комочек. Разумеется, ребёнок остался с ними: цыгане никогда не бросали детей, ни законных, ни «грешных». Чуть раньше этого случая родился Гришка, потом год за годом сыпались остальные мальчишки, но Настя точно знала, что никого из своих детей Илья не любит так, как Дашку. Девочка ослепла двух лет от роду, когда в степи их табор накрыло небывалой си-

лы ураганом и на глазах у Дашки молния ударила в столетний каштан. Все цыгане глядели на иссиня-белый столб огня, вдруг выросший посреди степи, но почему-то лишь маленькая Дашка перестала после этого видеть.

А выросла красавицей, тоненькой, стройной, с густой каштановой косой, с отцовскими чёрными, чуть раскосыми глазами – всегда неподвижными… Женихов, правда, на эту красоту не находилось: цыгане не хотели брать в семью слепую. И Илья, и Настя, и сама Дашка давно смирились с тем, что ей придется остаться вековушей.

Всё изменилось, когда они приехали в Москву, к Настиной родне. В первый же день Илья увидел Маргитку, приёмную дочь Митро, красавицу, зеленоглазую плясунью, «смертную любовь» первого московского вора Сеньки Паровоза.

Настя ни о чём не догадывалась до последнего. Ей и в голову не приходило, что между Ильёй и девочкой-цыганкой может что-то загореться. И не только потому, что Митро им родственник, Настин брат, не только потому, что девчонка девственна, как любая цыганская невеста, не только потому, что Илья женат… Нигде, ни в таборе, ни в городе, среди цыган не было принято крутить любовь «со своими». Цыгане пробавлялись русскими любовницами, жены смотрели на это сквозь пальцы, зная: муж никогда не уйдёт из семьи. Делай что угодно, спи с кем хочешь, но не оставляй детей – таков был закон. Бросишь семью – никто из цыган не подаст

тебе руки, отвернутся самые близкие люди, не поздоровается даже родной брат. И кто решился бы заплатить такую цену? А ещё страшнее была связь с чужой женой, с чужой дочерью, с чужой сестрой. За такое просто убивали, и Илья это знал. Не могла не знать и Маргитка, для которой с потерей девственности терялась и всякая надежда выйти замуж, которую ждали впереди лишь унижение, позор, насмешки цыган и проклятие родителей. Да, это было так… И все же они начали встречаться.

Ни о чем не подозревавшую Настю в то лето беспокоила судьба дочери, Дашки. От неё неожиданно для всех потерял голову брат Маргитки, Яшка, шестнадцатилетний гитарист, упрямый и сильный парень. Илья воспротивился было, но Яшка пошёл напролом. Он уговорил своих родителей заслать сватов, «заморочил голову», по выражению Ильи, самой Дашке, и осенью должны были сыграть свадьбу. И сыграли бы… не застань Дашка однажды собственного отца целующимся в тёмных сенях с Маргиткой. Слепая дочь ничего не могла увидеть, но, похоже, наслушалась достаточно, потому что прямо из сеней вылетела на улицу, под ледяной дождь. На другой день Дашка свалилась в лихорадке. Две недели она металась в жару, бредила беспрерывно отцом и Маргиткой, и Настя, неотлучно находившаяся при дочери, только тогда и узнала обо всём: о трех месяцах тайной любви мужа и семнадцатилетней девочки; о том, что они собирались бежать вдвоём, и даже о том, что Маргитка, кажется,

беременна. Это было предположение самой Дашки: Илья, по её словам, ещё ничего не знал.

Бежать с любовницей Илья, однако, отказался, и Маргитка сбежала из Москвы без него, с братом Яшкой, который случайно застал её, зарёванную и растерянную, за увязыванием вещей. За несколько минут Яшка уговорил её признаться во всём, понял, что жить беременной невесть от кого сестре в Москве нельзя (под угрозой оказывалась репутация всей семьи), но и отпустить девчонку одну тоже было невозможно. Яшка принял единственно допустимое решение: ехать с Маргиткой самому. Нужно было торопиться, и Яшка успел лишь на минуту забежать к ещё лежащей в постели невесте, чтобы рассказать ей обо всём и поклясться, что при первой же возможности вернётся за ней. Больше ни его, ни Маргитки никто не видел в Москве…

В полуоткрытое окно пробрался сырой сквозняк, шум дождя стал отчётливее, и Настя, не поднимаясь, захлопнула створку. Склонилась над столом, опустила голову на руки. Подумала о том, что хуже той дождливой осени не было в её жизни дней. Даже когда она лежала в больнице с изуродованным лицом, даже когда цыганки сплетничали ей об изменах Ильи, даже, грех сказать, на недавних похоронах отца. Ужасно то, что Настя знала обо всём, что произошло, и вынуждена была молчать. Она не могла даже успокоить Митро и Илону, которые чуть с ума не сошли, когда их старшие дети исчезли из родительского дома.

Шум из-за этого побега поднялся страшный, никто ничего не понимал, вся цыганская Москва гудела, спорила и сплетничала о несчастье в семье Дмитриевых. Предположения высказывались самые невероятные: среди женщин нашлись даже такие, которые вспомнили, что Яшка и Маргитка – не кровные брат и сестра, а значит, чем чёрт не шутит… Настя теряла последнее терпение, слыша подобные разговоры, кричала на баб, обзывала их проклятыми сплетницами, плакала от злости прилюдно, но тщетно, языки в каждом доме на Живодёрке чесали больше месяца. Тяжелее же всего было смотреть, как убивается Илона, постаревшая за этот месяц на десять лет, утешать Митро, который первый раз на памяти Насти оказался совершенно выбит из колеи и мог только растерянно спрашивать: «Но куда же их чёрт понёс, Настька? Совсем ничего не понимаю… Маргитка-то ладно, всю жизнь безголовой была, но Яшка-то, Яшка… Куда их нелёгкая погнала? И зачем, зачем?!»

Настя молча глотала слёзы. Сердце разрывалось, в горле стоял ком, несколько раз она была близка к тому, чтобы упасть на колени перед братом и рассказать обо всём. Слава богу, ей хватило ума понять: от правды всем станет только хуже. И Митро, и Илоне… и Илье.

Илья не ушёл от неё тогда. И Настя не смогла прогнать его, потому что всё-таки они вместе семнадцать лет и у них семеро детей. Потому что в душе отчаянно надеялась: перебесится, забудет, успокоится, заживут как жили… Илья ни

о чём её не просил. Настя ни о чём его не спрашивала. Ещё месяц они прожили в Москве: уехать от семьи Митро, когда там случилось такое несчастье, было бы просто свинством. К тому же их отъезд цыгане восприняли бы как демонстрацию смертельного оскорбления: ведь Дашка после бегства Яшки осталась брошенной невестой. Митро даже попытался извиниться за сына перед Ильёй. И этого Илья, хорошо знавший, почему уехал Яшка, уже не выдержал.

Их разговор с Настей состоял из трёх слов. Ночной разговор, когда она сидела на постели, закрыв лицо ладонями, а Илья стоял, отвернувшись к стене.

– Уедем, Настя?

– Уедем…

И они уехали, никого этим не удивив. У Митро просто не было сил уговаривать сестру и её мужа не покидать Москву. На прощание он всё же предложил им оставить Дашку как его законную невестку, но Илья не согласился, и дочь отправилась с ними.

Стоял уже октябрь, неожиданно холодный и ветреный, из низких облаков сыпался снег, возвращаться в кочевье было поздно, и сразу из Москвы они поехали в Смоленск, на привычный зимний постой. Вскоре туда приехал и табор, всё лето проболтавшийся по Задонщине. В душе Настя надеялась, что хотя бы теперь, среди своих, муж успокоится, придёт в себя, и они заживут как прежде, но какое там…

Илья никогда не был особенно разговорчивым, а теперь

и вовсе перестал открывать рот: за всю осень и зиму Настя могла по пальцам пересчитать дни, когда они с мужем говорили о чём-то. Куда делись их споры о Дашке, о мальчишках, о родственниках и даже о романсах, которые Настя пела в Москве! Теперь Илья упорно молчал, в самом крайнем случае скупо роняя: «Делайте что хотите». Он стал надолго уходить из дома, отговариваясь «лошадиными делами», пропадал в таборах, ездил к какой-то дальней родне то в Брянск, то в Калугу, то в Псков, и Настя не могла отогнать от себя мысли о том, что Илья ищет Маргитку. И когда муж возвращался – потемневший, злой, иногда в чужой обтрёпанной одежде, пахнущий водкой и лошадиным потом, – Настя наряду с облегчением чувствовала острую боль под сердцем. Иногда, проснувшись среди ночи и закусив до крови губы, она слушала, как муж беспокойно ворочается во сне и зовёт:

– Чяёри мири[3]… чяёри мири… чяёри…

Слава богу, такое было нечасто, и наутро Илья, кажется, ничего не помнил. И Настя молчала, прятала слёзы, из последних сил надеялась: пройдёт… И, может, впрямь прошло бы, если бы весной, когда с холмов пополз почерневший снег и в небе над городом закричали журавли, к ним в дом не заявился Яшка.

Парень повзрослел, вытянулся, сильно раздался в плечах, ещё сильнее стал походить на отца. Увидев племянника на пороге, Настя только всплеснула руками и слабо ахнула. Яш-

[3] Девочка моя.

ка сдержанно улыбнулся, попросил разрешения войти. Настя, с трудом взяв себя в руки, шагнула в комнату, где семья сидела за ужином, но успела только выговорить: «Илья, посмотри, кто к нам…»

Закончить она не успела: Дашка вдруг поднялась из-за стола и уверенно, словно была зрячей, пошла прямо к Яшке. У парня дрогнуло обветренное лицо. Он протянул руку, поймал Дашку за рукав и в нарушение всех приличий и законов, забыв о том, что это происходит на глазах Дашкиных родителей, привлёк её к себе.

«Ты что же делаешь, бессовестный?» – хотела сказать Настя, но взглянула через стол на мужа, и слова замёрзли в горле. Лицо Ильи, казалось, ничего не выражало, но в его глазах Настя поймала смятение. Она догадалась: Илья пытается понять, что известно Яшке о нём и Маргитке и как теперь вести себя с парнем. Но Яшка, взяв за руку плачущую Дашку, спокойно и уверенно произнёс: «Я за ней, Илья Григорьич», и Насте стало ясно, что он ничего не знает. Понял это и Илья, который, нахмурившись, встал из-за стола, помолчал немного и обычным, слегка недовольным голосом ответил:

– Ну, что с тобой делать… Садись за стол, а там решим.

Сидя за столом напротив Яшки, Настя внимательно вглядывалась в его лицо. Все дети Митро были очень смуглыми, в отца, но Яшка приехал вовсе чёрным, как антрацит, из чего Настя заключила, что эти полгода он провёл на юге. Вскоре выяснилось, так оно и есть: Яшка рассказал, что живёт «сво-

им домом» в Балаклаве и занимается конной торговлей. О московских делах прошлогодней давности он не упоминал вовсе и лишь обмолвился, что в Москве он не был и ехать туда не собирается.

В ночь перед своим отъездом Дашка пришла на кухню, где усталая Настя домывала посуду. Сев на табурет, расправила фартук на коленях, ровно сказала:

– Маргитка жива, здорова. Живёт с Яшкой в Балаклаве. Скоро родит.

Глиняная миска выпала из Настиных рук и разбилась. Настя тяжело прислонилась к стене, пробормотала: «Дэвлалэ[4]…» Дашка продолжала молча теребить фартук.

– Ты… отцу говорила?

– Не нужно, наверно.

– Да, – хрипло подтвердила Настя, закрывая глаза. Когда через минуту она их открыла, Дашки уже не было за столом, лишь слегка покачивался край скатерти. Настя села на лавку, машинально сгребла ногой осколки миски, подпёрла голову рукой. С отчаянием подумала о том, что это последняя ночь Дашки в родительском доме, что завтра она уедет с мужем и бог весть когда Насте придётся увидеть её снова. Впереди у девочки семейная жизнь со всеми её бедами и редкими радостями, и лучше бы им, матери и дочери, просидеть эту ночь вдвоём, тихо разговаривая перед долгой разлукой, но… Дашка ушла, а у Насти не было сил вернуть её. От тревоги

[4] Господи.

сжималась грудь. Маргитка… жива… Господи!

После отъезда Дашки Илья пропал из дома на две недели. Вернулся грязный, с соломой в волосах, весь пропахший конским потом и дымом, и Настя догадалась, что муж снова был где-то у цыган.

За весь вечер они не сказали друг другу ни слова, молча легли спать, а ночью Настя проснулась от глухого, прерывистого шёпота рядом с собой:

– Чяёри… Чяёри… Чяёри…

Она резко приподнялась на локте. Стиснула зубы, зажмурилась, едва сдерживаясь, чтобы не закричать на весь дом: «Замолчи, проклятый, пожалей меня, не смей звать её, не смей!..» Но за стеной спали мальчишки, кричать было нельзя, и Настя могла лишь молча, давясь слезами, ждать, когда всё закончится. Прежде Илья успокаивался быстро и спал до утра, но сейчас он словно с цепи сорвался. В мертвенном свете весенней луны, глядящей в окно, Настя смотрела на лицо мужа с закрытыми глазами. Он шарил руками рядом с собой, скользя пальцами по одеялу и рубашке Насти, морщился и хрипло звал:

– Чяёри… Чяёри… Маргитка, где ты? Где ты, девочка? Девочка моя… Чергэнори[5]… Я же всё сделал… всё… Что ты хотела – всё… Где ты? Где ты?!

В конце концов Настя испугалась, что он разбудит детей, и, собравшись с духом, потрогала мужа за плечо:

---

[5] Звёздочка.

– Илья, что с тобой? Успокойся…

Он тут же проснулся. Рывком сел, дико огляделся по сторонам, блестя белками расширенных глаз, ещё раз сдавленно позвал: «Чяёри…» – и увидел Настю. Она не сразу поняла, что в лунном свете отчётливо различимо её залитое слезами лицо. Илья опустил голову. Молча повалился навзничь на подушку. Кажется, вскоре заснул. Но через час Настю снова разбудил его хриплый голос, зовущий Маргитку, и опять ей пришлось будить Илью. И ещё несколько раз за ночь она делала это. Только под утро оба заснули намертво, и Настя открыла глаза лишь к полудню. Ильи рядом не было.

Это продолжалось шесть ночей. Шесть ночей – с перерывами в несколько суток, на которые Илья пропадал из дома. Каждый раз Настя думала, что он ушёл совсем, но муж возвращался, и они ложились вместе в постель, и он снова и снова не давал Насте спать, мечась по постели и сдавленно зовя свою девочку, и снова она расталкивала его и плакала в подушку, и снова Илья притворялся спящим, а наутро исчезал из дома… На седьмую ночь Настя вдруг ясно и даже с облегчением поняла, что больше она так не может и что ничего уже не поправить и не залатать. Слово в слово она помнила их последний разговор. Слово в слово – и сейчас, шесть лет спустя.

– Илья, так больше нельзя. Ты с ума сойдёшь.

– Ничего не будет…

– Нет, будет. Или вперёд я умру. Прости, не могу я боль-

ше. Прошу тебя, уходи. Иди к ней. Я вижу, ты её всё равно забыть не можешь. Ещё раньше уходить надо было, чего ради полгода промучились?

– Не говори так. – Илья сидел на краю постели, уткнувшись лбом в кулаки; его голова отбрасывала в лунном свете всклокоченную тень. – Куда я пойду, зачем? Я… Я даже не знаю, где она.

– Она в Балаклаве, с братом. Мне Дашка рассказала. – Настя помолчала немного и вполголоса добавила: – Она ведь тяжёлая от тебя. Ты не знал?

Илья поднял глаза. Шёпотом произнёс: «Дэвлалэ…», помотал головой, словно отгоняя неожиданное известие. Настя наблюдала за мужем с горькой улыбкой и сама удивлялась своему спокойному голосу.

– Вижу, что не знал. Ты поезжай, у неё вот-вот должно… Если не уже… Поезжай, Илья. За меня не бойся, я в Москву, в хор, вернусь. Не думай, мне так тоже лучше будет. Хоть мучиться перестану, на тебя глядя. Ещё возьму и замуж выйду! – Она даже нашла в себе силы снова улыбнуться. – Езжай, Илья. Прямо завтра. Может, ещё и свидимся когда.

Он не отвечал. Настя легла на постель, отвернулась к стене. Подивилась тому, как пусто и тихо стало в душе, словно выгорело всё. Но сон так и не пришёл к ней, и на рассвете она слышала, как поднялся и ушёл Илья. Ушёл не прощаясь: о чём ещё им можно было говорить? Час спустя Настя встала и, когда проснулись мальчишки, сказала при них своему

старшему, Гришке:

– Отец уехал. Ты теперь в доме старший. Продавай лошадей, отправляемся в Москву.

Сын не выказал и тени удивления – Настя даже испугалась, не знает ли он чего. Но если Гришка и догадывался о чём-то, то виду не подал. Спокойно выслушал мать, кивнул и пошёл на конюшню. Тогда Настя впервые заметила, что похожий больше на неё старший сын чем-то начал напоминать Илью.

В столице им обрадовались. Вопросов никто не задавал. Все знали Настю: не захочет – ничего не расскажет. На другой же день они с Гришкой выступали с хором в ресторане. Вот и всё.

Митро, впрочем, время от времени пытался расспрашивать сестру о том, что случилось. Настя отмалчивалась. Иногда взрывалась: «Не твоё дело!», иногда отмахивалась: «Да отвяжись ты… Какая теперь разница?» Но когда Митро, выходя из себя, называл Илью таборным голодранцем или кобелём, она резко обрывала его: «Ты ничего не знаешь, молчи!»

Митро умолкал. И лишь однажды у них вышла серьёзная ссора: когда брат услышал от каких-то цыган о том, что Илья живёт в Крыму с молодой женой. В тот же вечер Митро заговорил об этом с Настей. Та как можно сдержаннее произнесла, что всё знает. Митро раскричался, начал сыпать вопросами. Настя отвечала невпопад, лихорадочно гадая, не ска-

зали ли цыгане брату о том, кто она, та молодая. Но этого, судя по всему, Митро не знал.

Жизнь покатилась своим чередом. Год спустя женился Гришка, за ним – второй сын, Петька. В Москве снова появился князь Сбежнев, который, узнав о том, что Настя теперь свободна, немедленно сделал ей предложение. Она отказала, но Сбежнев не отступился, и сейчас, глядя на тёмную улицу, Настя обречённо думала: почему бы нет? Шесть лет прошло, стоит ли ещё ждать? И чего ждать?..

В коридоре чуть слышно скрипнула половица. Кто-то осторожно поскрёбся в незапертую дверь. Настя очнулась от своих мыслей, провела ладонью по лбу, удивлённо посмотрела на едва заметные в предрассветной темноте стрелки ходиков.

– Эй, кому там не спится? Заходи.

В комнату смущённо, боком, вошёл сын Илюшка, которому месяц назад исполнилось восемнадцать. Он казался копией отца; правда, черты лица были ещё юношески мягкими, а улыбка – стеснительной.

– Почему не спишь, мама?

– Это ты почему не спишь? – с напускной строгостью спросила Настя. – Вон светает уже.

– Я… Я по коридору шёл и смотрю – у тебя дверь открыта. – Илюшка мялся у двери, поглядывал то в окно, то на ходики, теребил в пальцах край рубахи. – Мне бы поговорить…

«Вот так и знала», – подумала Настя.

– О чём, сынок?

– Мама, я… Мне… Жениться я хочу.

– Господи, только тебя мне не хватало, – после короткого молчания горестно сказала Настя, берясь за голову. – И что вы все в хомут торопитесь, скороспелки?.. Садись сюда. На ком?

Глава 2

Рыбачий посёлок, состоящий из трёх десятков глиняных хаток, кабака у самого моря и рыбной лавки, находился в двух верстах от Одессы. Помимо рыбаков, здесь обитало множество всякого сброда: греки-контрабандисты, приплывающие из Балаклавы на бокастых фелюгах, подолгу живущие в посёлке, а потом в один день вдруг пропадающие без следа; молдаване в длинных белых рубахах и высоких шапках, занимающиеся виноделием и скупкой краденого; мрачные турки со своими безмолвными жёнами и черномазыми крикливыми детьми; говорливые евреи, которым принадлежала вонючая, никому в посёлке не нужная рыбная лавка. Лавку держал старый Янкель, и на сомнительный доход от неё кормились человек тридцать Янкелевой родни. По соседству с евреями обитали румыны-конокрады, за конокрадами селилось грязное голосистое семейство нищих гагаузов. Жили в посёлке болгары, албанцы, украинцы, поляки, сербы, русские… Жили мастеровые, воры, бродяги, кочевые торговцы, холодные сапожники, скупщики краденого, гадалки, коновалы, кузнецы… Весь этот грязноватый шумный народ появлялся в посёлке невесть откуда и невесть куда потом исчезал, никого этим не интересуя.

Полиция Одессы старалась не появляться в посёлке без крайней нужды; горожанам тоже нечего было здесь делать,

и белая каменистая дорога, ведущая в город, оживала лишь на рассвете. Первыми в Одессу отправлялись молдаване-молочники с корчагами простокваши, кругами сыра и творогом, нагруженными на арбы; за ними двигались румыны с баклагами вина, сапожники-евреи со своими грязными ящиками, в которых лежали колодки, обрывки кожи и дратва, лошадники-цыгане. А самыми последними, когда солнце было уже не розовым, а белым и стояло высоко над морем, в город шагали рыбаки, вернувшиеся с утреннего лова, которые тащили на головах огромные корзины с рыбой. К полудню посёлок пустел, лишь кое-где под заборами в тени сидели полуголые величественные турки или проскакивали тенями женщины. Между домами без всякой привязи бродили тощие коровы, лошади, козы, ишаки и чёрный еврейский козёл по имени Шейгиц. Грязные дети всех мастей носились по посёлку, как стая чертей, орали, дрались, висли на заборах и деревьях, полоскались в море и крали всё, что плохо лежало. А к вечеру посёлок снова наполнялся народом, красное солнце падало в море, тихие волны умиротворённо лизали песчаную косу, и трактир одноглазого Лазаря под грецким орехом на берегу открывал свои скрипучие двери. В последнее время у Лазаря по вечерам было набито битком, и немудрено: в трактире пели цыгане. И не какие-то полуголые лаутары, не грязные цимбалисты, не голодные бессарабские волынщики, а самые настоящие артисты – по слухам, из самой столицы…

…За печью, растревоженные штормом, громко шуршали тараканы. В засиженное мухами окно стучал дождь, струйка воды уже подтекла под раму и по капле падала на пол: тук… тук… В печной трубе голосил ветер, ветви старого платана колотили по крыше, словно желая разломать её.

Да… Проживёшь вот так сорок три года, не зная, что есть на свете огромная солёная лужа – море, и лысые камни, и вонючий, богом забытый посёлок, а на сорок четвёртом году сядешь среди всего этого на хвост и поймёшь: вот она какая теперь, твоя жизнь, хочешь ты того или нет. Илья хмуро взглянул в окно, отодвинул от себя пустую миску и, сжав в кулаке кусок недоеденного чёрного хлеба, задумался.

Большой, мазаный, как все жилища в посёлке, дом делила надвое ситцевая, местами рваная и залатанная занавеска. Полати белёной печи были завалены пёстрыми подушками и одеялами. На стене висели две гитары, картинки, вырезанные из журналов, сделанная в прошлом году в Одессе большая фотографическая карточка Яшки, Дашки и их старшей дочери. С огромного гвоздя возле двери свешивались ремни лошадиной сбруи. На припечке лениво тёрла рыльце рыжая кошка. «К гостям, – недовольно подумал Илья. – И кого только в такую собачью погоду принесёт?»

На другой половине дома, из-за занавески, надсадно заплакал ребёнок. С минуту Илья, морщась, вслушивался в его рев. Затем сердито позвал:

– Маргитка! Оглохла? Уйми его!

– У него своя мать есть! – отозвался из-за занавески молодой резкий голос. – Сам унимай, когда тебе надо, а я к ним не присуждённая!

Илья, нахмурившись, привстал, но в это время открылась, впустив в дом шум ливня, входная дверь. Насквозь промокшая Дашка быстро вошла внутрь. С её шали, юбки, платка капала вода, в руках было жестяное ведро с рыбой, которое Дашка с грохотом опустила на пол.

– Где тебя носит? – свирепо спросил Илья. – Дитё всё оборалось…

– А Маргитки разве нет? – удивилась Дашка, попутно довольно метко награждая подзатыльниками двух проскользнувших за её спиной в дом мальчишек. – Я в Одессе у Чамбы была, нас Яшка на дороге встретил…

– А, встретил всё-таки… – проворчал Илья. – А то ещё с полудня с ума начал сходить – где ты… Ты хоть бы мужу говорила!

– Но я же не знала, что так польёт! – оправдывалась Дашка, переодеваясь за печью. – Чамба говорит – переждите… Мы сначала сидели у них, ждали, а потом я слышу, что дождь не кончается, только пуще делается. Ну, думаю, так и до завтра можно ждать, лучше побежим. И побежали, а тут как раз Яшка на телеге с рынка едет.

Ребёнок вдруг умолк, и Илья решил, что Маргитка всё-таки взяла его на руки. Но вместо Маргитки с тряпочным кульком на руках из-за занавески важно вышла четырёхлет-

няя Цинка – курчавая, голенастая, с разбитыми и исцарапанными босыми ногами. Усевшись на пол у печи, она принялась качать ребёнка, пронзительно напевая:

– Вы мной играете, я вижу,
Для вас смешна любовь моя…

Илья усмехнулся. Цинка весело взглянула на него, высунула язык. Она, как и все Дашкины дети, была похожа на отца, и иногда Илье даже ругаться хотелось, глядя на эти татарские глаза и толстые губы. Сейчас Дашка снова на сносях, и можно не сомневаться: к концу лета вылезет очередной арапчонок.

Ситцевая занавеска опять дёрнулась в сторону, в кухню вышла Маргитка, и с одного взгляда Илья понял, что жена не в духе.

– А-а, явилась наконец-то, радость долгожданная! – бросила она Дашке, даже не потрудившись понизить голос, и малыш, притихший было на коленях Цинки, снова расплакался. – Где тебя таскало, брильянтовая? За детьми твоими кто смотреть будет? Я? Или святой Никола? Или чёрт морской?! Накидали полные углы, повернуться в доме негде, а сами шляются с утра до ночи, что одна, что другой! Мне разве этот выводок сопливый нужен?! Давайте, давайте, плодите котят, тьфу! Навязались на мою голову, чтоб их собаки разорвали, проходу от них нету… Когда они мне поспать да-

дут наконец, а?! Дождусь я счастья такого в своём же доме?!

Илья понимал: надо встать, оборвать, рявкнуть на неё, может, даже дать оплеуху… Но вместо этого сидел и смотрел на разошедшуюся девчонку во все глаза, чувствуя, как бегут по спине знакомые мурашки. Скандаля и крича, Маргитка делалась ещё красивее, ещё пуще зеленели неласковые глаза, ещё больше темнело смуглое лицо, гневно сходились на переносье густые брови. Она вылетела из-за занавески без платка, и чёрные кудри рассыпались по плечам, спине, по застиранному ситцу розовой кофты – казалось, Маргитка до колен укутана в чёрную шаль. Господи, какая же красавица, чтоб она издохла… Двадцать три года ей, пять лет как мужняя, а всё лучше и лучше делается, и ничем этот ведьмин огонь в ней не забьёшь, так и вырывается, так и искрит! Чяёри, девочка… Он её по-другому и назвать не сможет.

– Ну, погавкай у меня, холера! – вдруг послышался спокойный голос с порога, и Илья, вздрогнув, очнулся. Визг Маргитки смолк, словно отрезанный ножом. Она фыркнула, тряхнула волосами и, перебросив их на одно плечо, отошла в угол комнаты, к зеркалу.

Яшка прикрыл за собой дверь и встал, не проходя в комнату, у порога. Он был мокрый с головы до ног, и под его сапогами тут же образовалась лужа. Дети кинулись к нему со всего дома, один мальчишка, вереща, повис на шее, другой – на спине. Цинка, как старшая, подошла не спеша, не спуская с рук младенца.

– Ну-ка вон! – заорал на детей Яшка, но широкая улыбка свела на нет всю грозность окрика, и мальчишки даже ухом не повели. Дашка с трудом отогнала их и, нащупав на гвозде полотенце, приказала:

– Наклонись.

Яшка нагнулся, и Дашка, накинув полотенце на голову мужа, начала вытирать его мокрые волосы. Илья видел, как он кряхтит от удовольствия, как из-под полотенца пытается украдкой хлопнуть Дашку по заду, слышал, как та шёпотом ругает его: «Дети… отец… ошалел?» – и чувствовал беспричинную злость. Проклятый щенок… Век бы его не видеть.

Зятя Илья не любил и догадывался, что Яшка это чувствует, но открытых ссор между ними не случалось. Илье не хотелось причинять боль дочери, а о том, что творилось в голове зятя, он не знал и знать не хотел. С каждым годом парень всё больше становился похожим на своего отца, и иногда Илье даже хотелось перекреститься: Митро и Митро, только молодой да ростом повыше. Даже Яшкин взгляд, недоверчивый, насмешливый, порой презрительный взгляд узких чёрных глаз, который Илья не раз ловил на себе, напоминал ему о Митро. С точно такой же физиономией тот разглядывал лошадей на конном рынке, намереваясь сбить цену. Но Яшка молчал, а если случалось обсуждать что-то с тестем, то делал это по-цыгански – со всей почтительностью к старшему, в которой Илье постоянно чудилась скрытая издёвка. Но раздувать эти угли ему не хотелось. Чёрт с ним, с паршив-

цем… Дашку жалко.

Он знал: дочери с Яшкой живётся хорошо. За все эти годы Илье не довелось увидеть не только ни одного их скандала, но даже услышать, чтобы Яшка повысил на жену голос. Илья диву давался, потому что до сих пор думал, что такая жизнь была только у них с Настькой, и то лишь поначалу. Возвращаясь с конных базаров, Яшка всегда привозил жене то золотые серьги, то бусы, то шаль, то целый мешок конфет, то отрезы шёлка. Дашка улыбалась, благодарила, складывала подарки в сундук, и в конце концов эти шали и отрезы оказывались на Маргитке. Яшка ворчал, Дашка пожимала плечами:

– Но куда же мне сейчас это носить? Посмотри на меня – опять…

Беременной Дашка ходила постоянно, но была этим вполне довольна, и через пять лет у них с Яшкой было четверо детей. Илья вздыхал про себя: хоть бы Цинка, девочка, походила на мать, так ведь нет… Курчавый, скуластый, узкоглазый бесёнок, обезьянка, мальчишка в платье. Хотя, кто знает, может, с годами переменится.

За окном звонко прочавкали по грязи лошадиные копыта: кто-то галопом подлетел к дому. Илья вспомнил умывавшуюся кошку, поморщился: вот и гостей принесло…

– Будьте здоровы все! – поздоровался, входя, Васька Ставраки, и настроение Ильи испортилось окончательно.

Этого парня, чёрного, худого и подвижного, всегда лохма-

того, как леший, Илья терпеть не мог. Впрочем, в этом с ним был солидарен весь посёлок. Никто не знал, откуда здесь появился Васька. Любые расспросы были бессмысленны, потому что десяти разным людям Васька давал десять разных ответов. Рыбаки не могли даже точно установить, какой Васька породы. Одни говорили – грек, другие – турок, третьи божились, что парень – цыган, четвёртые уверенно причисляли его к евреям. Васька ни с кем не спорил. Он вполне сносно болтал и по-гречески, и по-персидски, и по-еврейски, а однажды Илья заметил, что он понимает и романэс. Это было в тот вечер, когда они всей семьёй выступали в трактире Лазаря и Илье показалось, что Маргитка чересчур уж ласково слушает Васькины глупости. Он буркнул ей по-цыгански:

– Весь стыд потеряла?

– Отстань, гаджо[6] деньги платит.

– Может, ещё и ляжешь с ним?

– И лягу, если не отвяжешься.

– Кнута захотела?

– Тьфу, надоел…

Илья уже был готов перейти от слов к делу прямо в трактире, но сидящий за столом Васька вдруг фыркнул в стакан, плеснув винными брызгами, быстро отвернулся к окну, и ошарашенный Илья догадался, что тот понял весь его с Маргиткой разговор с начала до конца.

Все знали, что Васька Ставраки был конокрадом, и до-

[6] Нецыган.

вольно удачливым. По временам он пропадал из посёлка, мог отсутствовать неделю, месяц, два. Но только рыбаки начинали с облегчением поговаривать о том, что безродного чёрта наверняка где-то зарезали, как Васька объявлялся: похудевший, грязный, весёлый, с целым косяком лошадей. На Староконном рынке в Одессе пронзительный и гортанный Васькин голос перекрывал любой шум. Ставраки орал во всё горло, расхваливая своих «орловских скакунов». Если ему не верили, обижался почти до слёз, спорил, лез лошади в зубы, выворачивал кулаком язык, тыкал в живот и в конце концов поднимал цену. Самым невероятным было то, что у Васьки охотно покупали.

За этим следовал многодневный кутёж в трактире одноглазого Лазаря. Жадности в Ваське не было, гулял он до последнего гроша, угощал рыбаков, хозяина и музыкантов, плясал до упаду, подпевал цыганам неплохим тенором и засыпал прямо под столом, положив на перекладину всклокоченную голову. Через неделю гульбы Васька бродил по посёлку похмельный и злой, в одних штанах, пропив и рубаху, и сапоги. А на другой день в каждом дворе начинались пропажи: то исчезнет хомут, оставленный у ворот конюшни, то как сквозь землю провалится новая сеть или сгинет выстиранное бельё вместе с верёвкой. В трудные минуты жизни Васька не гнушался даже висящими на плетне портянками. Все догадывались, чьи это проделки, но поймать Ваську было невозможно. При встречах же он отрицал всё на свете,

с оскорблённой физиономией предлагал осмотреть свою халупу, где, кроме тараканов и голодных мышей, не имелось ничего, и знающие люди шли прямиком в город, на Привоз, где украденные вещи находились уже в третьих руках. Били Ваську часто, но безрезультатно: живучий, как блоха, он отлёживался, встряхивался и принимался за старое.

Судя по всему, Ваську настигла очередная полоса безденежья: на нём красовались грязные залатанные гуцульские шаровары, а живот прикрывала потёртая кожаная жилетка. Босые ноги были в грязи по щиколотку; Васька смущённо потёр их одну о другую и на предложение Ильи проходить в дом и садиться за стол ответил отказом:

– Спасибо, я мокрый весь.

Илья не стал настаивать. Васька сел у порога, встряхнулся, обдав пол брызгами, улыбнулся, показав крупные зубы, из которых один клык был золотой, а другого не имелось вообще. С растущим недовольством Илья наблюдал за тем, как Васькины глаза – один карий, другой жёлтый, как у бродячего кота, – без стеснения следят за Маргиткой. А эта шалава… Нет чтобы уйти за занавеску или на худой конец прихватить волосы платком – цыганка ведь, замужняя, при чужом! Она, чёртова кукла, об этом и не задумалась. Стоит у стены спиной к молодому кобелю, усмехается, встряхивает распущенными волосами и наверняка ловит в зеркале Васькин взгляд. Его, Ильи Смоляко, жена! В его же доме!

– Маргитка, уйди, – едва сдерживаясь, велел Илья.

Она глянула через плечо, снова тряхнула волосами. Неожиданно расхохоталась на весь дом, запрокинув голову и сверкая зубами, и Васька даже привстал. Вот паскуда…

– Пошла вон отсюда! – гаркнул вдруг Яшка так, что задрожала посуда в шкафу. Брата Маргитка боялась и, перестав смеяться, юркнула за занавеску.

– Зачем пришёл, парень? – остывая, спросил Илья.

– Лазарь послал. – Васька улыбался как ни в чём не бывало. – Просит вас в кабак сегодня.

– Чего ему зачесалось?

– Как чего? Погляди, как штормит! Никто в море не выйдет, все в кабак потянутся, народу куча будет! Ещё и из города придут на Маргиту Дмитриевну смотреть!

– Горазд брехать-то – «из города»… Ладно, придём. Ступай.

Васька заржал на весь дом:

– Под дождь, что ли, живого человека гонишь, Илья Григорьич?!

– А… ну пережди… – спохватился Илья, мысленно помянув недобрым словом мать этого поганца. Ещё и не выпроводишь его теперь… Спросил между делом: – Ты, парень, случаем не знаешь, куда у меня новая упряжь с забора девалась?

– Украли, что ли? – посочувствовал Васька. – Так откуда мне-то знать? Ты получше поищи, может, валяется где-нибудь. У меня тоже так было. Ищешь-ищешь кнут по всему

двору, и бога, и чёрта клянешь, а потом хвать – а он, кнут-то, за сапогом торчит… А зачем ты упряжь на заборе бросил? Люди не святые…

– Мне вон Белаш говорил, что тебя с этой упряжью в городе на базаре видали.

– А ты ему больше верь! – с неожиданной злостью сказал Васька, и его разноцветные глаза сузились. – Может, он сам и прихватил, а на меня брешет… Знаешь что, Григорьич? По-моему, ты не за упряжь свою беспокоишься.

Из-за занавески послышался приглушённый смех. Илья медленно поднял глаза, чувствуя, как сами собой сжимаются кулаки. Васька встретил его взгляд, не отворачиваясь. На его тёмном от загара и грязи лице уже не было улыбки.

– Ай, господи, брысь пошла, проклятая! – вдруг завопила Дашка.

Мимо стола с воем пронеслась кошка, посыпалась посуда, ударилась о пол корчага, и молочный ручей торжественно потёк к сапогам Ильи. Поднялся крик, писк, мальчишки кинулись к упавшей сахарной голове, Цинка с грозными воплями пыталась отогнать их мокрой тряпкой, Яшка хохотал, отвернувшись к стене, Дашка громко проклинала «эту рыжую нечисть» – словом, шум поднялся страшный. Илья только вздохнул, в который раз подумав про себя: до чего же дочь на Настьку похожа… Та тоже всегда вовремя молоко разливала. Исподлобья он взглянул на Ваську. Тот улыбался, вертел в пальцах щепку, молчал и через несколько минут, к

облегчению Ильи, ушёл.

Насквозь прогнивший трактир одноглазого Лазаря на краю посёлка держался, по выражению рыбаков, «на плаву» только за счёт старого грецкого ореха, на мощный ствол которого уже несколько лет лазаревское заведение наваливалось стеной. Внутри было грязно, темно, девчонке-прислуге никогда не удавалось дочиста отмыть липкий, заплёванный пол и отскоблить грубые, залитые вином и водкой, залепленные рыбьей чешуёй столы. На закопчённых стенах висели связки лука, перца, чеснока и воблы, сушёная макрель, грязные полотенца и засиженная мухами до неузнаваемости икона святого Николы. Стойкой служил длинный стол, на котором высились ряды оплетённых красноталом бутылей, за ним помещался буфет с посудой и табурет, где восседал хозяин, Лазарь Калимеропуло – низенький, пузатый, кривоногий полугрек-полуеврей, которого ничем нельзя было удивить или напугать, такой же грязный и запущенный, как его заведение.

– Лазарь, да что ж это за гадство?! – возмущались по временам даже привыкшие ко всему рыбаки. – Ты хоть бы раз в год на Пасху стаканы мыл! Гли, муха присохла!

– Скажите, господарь какой… – следовал флегматичный ответ. – Муха не кобель, отшкрябай да выкинь. А не нравится – шлёпай в город, к Фанкони, там без мух нальют…

Сначала Лазарь не держал у себя в заведении музыкантов, считая это бездоходным излишеством. Если разгорячён-

ные гости слишком настойчиво требовали музыки, то Лазарь, сердито бурча, вытаскивал из-за стойки жестяную помятую трубу и принимался старательно дуть в неё, время от времени вытаскивая инструмент изо рта, чтобы пропеть погречески непристойные куплеты. Труба завывала, как мартовский кот, голос у Лазаря был противный, слуха не имелось вовсе, и рыбаки, бранясь, кидали прямо в трактирщика медные пятаки:

– На, дьявол одноглазый, замолчи только! Чтоб тебе черти на том свете так пели!

Довольно быстро Лазарь понял, что выгоды от его музицирования немного, и вынужден был с зубовным скрежетом нанять старика-еврея Шмуля со скрипкой. Но от Шмуля тоже оказалось мало пользы: почти глухой, обладающий скверным характером, он играл лишь то, что ему хотелось, а хотелось Шмулю чаще всего еврейских поминальных песен да изредка невесть где подслушанного марша из оперетты «Продавец птиц». Марш рыбакам понравился, они даже сочинили для него препохабнейшие слова, кои и исполняли хором, размахивая стаканами и воблой, под скрипку Шмуля. Но беда была в том, что настроение сыграть опереточный марш к старику подкатывало не чаще раза в месяц. А все остальные вечера он, закатив к потолку глаза и раскачиваясь, как маятник, извлекал из скрипки заунывные, полные скорби мелодии. Вскоре Лазарь понял, что пора спасать коммерцию. Плюясь и матерясь, он подсчитал кассу и пошёл угова-

ривать Илью Смоляко, не так давно появившегося в посёлке со своей семьёй.

Выслушав Лазаря, Илья согласился – не столько для себя, сколько для молодёжи, которая тосковала по московским выступлениям. Конечно, оказалось, что это совсем не то, что в столице. Здешней публике было далеко до князей, графов и купцов-миллионщиков. Оглушительные восторги рыбаков и контрабандистов, их топанье сапогами, свист и гогот никак не напоминали аплодисменты в ресторане Осетрова. Но всё же был в этих выступлениях слабый отголосок прежних времён. Однажды Илья даже поймал себя на мысли, что ждёт вечеров в трактире, и удивился, поняв, что радуется тому, от чего открещивался прежде как от чумы. Настя в своё время была права, попрекая мужа тем, что у него в голове одни лошади: в молодости – чужие, позже – собственные. А его голос, который пол-Москвы называло «оригинальным», «чудесным» и «божественным», тот самый тенор, которым Илья в равной мере сводил с ума и пьяных купцов, и профессоров консерватории, – что ж… Он и внимания на этот свой голос не обращал никогда. Есть – и слава богу, пропадёт – не заплачет… Может, и неправильно он жил? Может, надо было слушать Настьку, петь в ресторанах, а не драть глотку на конных базарах? Не хотел. Не умел. Не приучен был. И пел перед ресторанной публикой через силу, сначала ради Настьки, а потом ради Маргитки. Пусть девочка хоть так потешится. Пора, в самом деле, бросать эту вонючую дыру и

перебираться в какой-нибудь город, хотя бы и в ту же Одессу. Зря он боится, надо уезжать. От Васьки подальше.

Обо всём этом Илья думал, сидя вместе с Маргиткой и Яшкой (беременная Дашка осталась дома) в маленькой комнатке за помещением трактира. Это было единственное чистое место в заведении Лазаря. Кровать с железными шарами покрывало лоскутное одеяло, на подоконнике валялись ленты и дешёвые мониста, на столе лежали сушёная дыня, макрель с оторванным хвостом, колода засаленных карт, бубен, обшитый полинявшими, когда-то красными лентами, и осколок зеркала. Со старого комода смотрел неизменный святой Никола – покровитель рыбаков. Комнатка принадлежала цыганке Розе по прозвищу Чачанка, тоже выступавшей в трактире Лазаря.

Чачанка пришла в посёлок прошлой осенью по дороге из Одессы – босиком, в синей юбке, рваной оранжевой кофте и красной косынке на курчавых волосах. В поводу Роза вела молодую гнедую кобылу под седлом с навьюченным на неё узлом, жевала истекающий соком помидор и с любопытством поглядывала по сторонам. Рядом с ней шагал сын – грязный мальчишка лет двенадцати. Вся эта процессия прямиком двинулась к трактиру Лазаря. Роза вошла внутрь, непринуждённо осмотрелась, поморщилась, метко запустила помидором в шмыгнувшую по полу крысу, подошла к стойке, за которой дремал Лазарь, и весело спросила:

– Что, ненаглядный, деньги любишь?

– Кто ж нынче не любит?

– Буду у тебя петь – золоту счёт потеряешь. Принимай!

Позже, в кругу смеющихся рыбаков, Лазарь плевался, проклинал святых Николу и Спиридиона и божился, что сам не знает, за каким лешим пустил к себе цыганку: «Заколдовала, чёрт голопятый! Заворожила! Завтра же выгоню!» Но «голопятый чёрт» с удобством расположился в задней комнате трактира – и, судя по всему, надолго.

То, что Роза приехала одна, без табора, и более того – без мужа, немедленно дало пищу для разговоров. Подливало масла в огонь и то, что она поселилась у Лазаря, а не рядом с семьёй Ильи Смоляко: обычно цыгане держались друг друга. Сначала ей приписывали сожительство с Лазарем, но трактирщик упорно отнекивался. Бешенство, с которым он это делал, убедило рыбаков в том, что удочку Лазарь всё-таки закидывал, но явно получил отказ.

«И то, зачем он ей, пьяница кривой? Баба-то красивая, в соку…»

Да, что-то неудержимо привлекательное было в невысокой и подвижной фигуре тридцатилетней Розы, в её загорелых руках, всегда смеющихся глазах, остром подбородке, недлинных курчавых волосах, выбивающихся из-под платка, в манере быстро и резковато, всегда с шуткой, разговаривать, звонко, по-девичьи, смеяться, запрокидывая голову и высовывая язык… Всего этого оказалось достаточно, чтобы мужчины посёлка предприняли ряд визитов в заднюю ком-

нату трактира. Сначала Роза выпроваживала рыбаков вежливо, но через неделю терпение её лопнуло. Весь трактир был свидетелем того, как из комнаты Розы одновременно с грохнувшим выстрелом вылетел огромный, как медведь, чёрный и рябой контрабандист Белаш, а за ним, потрясая кремнёвым ружьём Лазаря, выскочила полуодетая негодующая Роза. Выпалила она из ружья, конечно, вхолостую, но с того вечера её оставили в покое.

Вскоре Роза раздобыла себе лёгкую плоскодонную шаланду и на рассвете, поражая весь посёлок, невозмутимо выгребала в море. Возвращалась она к полудню, усталая, весёлая, выкидывала на берег бычков и скумбрию, вытаскивала ведро креветок или мидий. Днём уходила в город, шаталась по Привозу с корзинами рыбы, иногда гадала, сидя на углу, на картах или бобовых зёрнах, порой заходила в лошадиные ряды и лезла к барышникам с советами – по признаниям кофарей[7]-цыган, весьма дельными. А вечером пела в трактире Лазаря, колотя в свой старый бубен, плясала, вскочив на стол, и весь зал звенел от её высокого и звонкого голоса. О себе Чачанка никогда не рассказывала. Не пустилась она в откровения и с цыганками, и обиженная Маргитка даже заявила о том, что Роза вовсе не их породы. Мол, разве будет цыганка сторониться своих, жить одна? Разве цыганское дело ловить рыбу? Разве сядет цыганская женщина верхом на лошадь? Разве осмелится она давать мужчине советы, как

[7] Барышников.

выгоднее купить или продать коня? Роза посмеивалась над такими разговорами, но никого не переубеждала. Её сын с утра до ночи носился по посёлку с ватагой других мальчишек, и от него, так же как от матери, нельзя было выведать ни слова.

Стоило Илье вспомнить о Розе – и она тут же появилась на пороге комнаты. Чачанка никогда не переодевалась для выступлений – оставалась в своей синей широкой юбке и оранжевой блузке и лишь набрасывала на плечи зелёную шаль с кистями. Так Роза была одета и сегодня. Войдя, она подошла к столу, взяла бубен, весело потыкала пальцем в перегородку.

– Чего сидим, ромалэ? Второго пришествия ждём? Слышите, как рыбачки разорались? Пора выходить, не то они Лазарю весь кабак разнесут. С города Лёвка Шторм со своими мальчиками пришёл, так уже по лампам стрелять примеряются!

Появление цыган встретили восторженным воем, топотом сапог, свистом. Роза топнула босой пяткой, взмахнула бубном и запела – как обычно, не дожидаясь вступления гитар:

– Не держите мине, мама, не вяжите дочку,
Я в окошко утеку тёмною ночкой!
Где гуляет мой фартовый, козырной мальчонка?
Позабыл, злодей-обманщик, за свою девчонку!

Эту песню Роза принесла из Одессы. Но пела она её на цы-

ганский манер и так ловко, словно подслушала не в каком-то воровском притоне, а в кочевом таборе. Шум за столиками не только не утих, но сделался ещё сильнее, когда Роза, ударив в бубен и бросив его через весь трактир опешившему Лазарю, кинулась в пляс между столиками. Гости заорали от восторга; десятки загорелых, грязных, просоленных, покрытых татуировками рук потянулись к Розе, а она, уворачиваясь, грозила пальцем, показывала язык и била без удержу тропаки на заплёванном полу. Её поймал, подкравшись сзади, контрабандист Белаш, взметнул вверх на своих огромных руках, поставил на стол, и рыбаки, повскакав с мест, помчались к этому столу. Лазарь кинул Розе бубен. Она ловко поймала его, заколотила ладонью по гладкому верху и начала отплясывать прямо на столе, под звон содрогающихся бутылок и стаканов.

Илья скосил глаза на Маргитку. Как и ожидал, увидел злое, надменное лицо. Да… Когда эта красавица стерпеть могла, чтобы не на неё, а ещё на кого-то смотрели? Сейчас, как прижаренная, плясать кинется…

Илья не ошибся: в тот же миг Маргитка широко улыбнулась, кинула брату через плечо: «Играй!» – и, вскинув руки, с места, без выходки, понеслась в пляс. И больше Илья не замечал никого и ничего. Он даже сделал шаг вперёд и встал не за спиной Маргитки, а слева от неё, чтобы видеть это смуглое лицо, зелень глаз, качающиеся в такт косы, серьги, мониста. И узенькие носки туфель Маргитки так же, как

когда-то в Москве, выглядывали из-под подола красной юбки, и такими же ловкими, гибкими, отточенными были движения, и так же мелко частили плечи, и гнулась она, как молодая ветка, и отрывисто кричала гитаристам: «Авен[8], авен, авен!», ускоряя темп. Даже закончившая пляску и спрыгнувшая со стола на колени Белаша Роза смотрела на Маргитку с восхищением. Рыбаки сгрудились вокруг плясуньи, хлопали в ладоши, свистели. А она носилась перед ними, поднимая ветер шалью, била плечами, кричала Илье и Яшке:

– Ещё! Ещё! – и они послушно ударяли по струнам.

Лишь один раз Илья упустил ритм: когда из-за спин рыбаков к Маргитке вылетел, дробя пол каблуками, лохматый, скалящий зубы Васька Ставраки. Сейчас он уже не выглядел полуголым босяком: на Ваське были новые шевровые сапоги, тельняшка и широкий кожаный пояс. К облегчению Ильи, Маргитка посмотрела на Ваську, как на пустое место, отвернулась, понеслась по кругу дальше. Из её косы вылетела и завертелась по полу блестящая монетка. Васька нагнулся, подхватил её, деловито попробовал на зуб, сунул в рот и, закинув руку за голову, полетел вслед за Маргиткой. И тут Илья ничего не мог поделать: гости трактира имели право плясать с цыганками. Вслед за Васькой попрыгали в круг и остальные, затопал, как медведь на привязи, Белаш, застучал деревянной ногой в пол дед Ёршик, выскочил из-за стойки, размахивая полотенцем, Лазарь, завертелась, подбоченившись

[8] Давайте.

и выставив острые локти, посудомойка Юлька, и весь трактир заходил ходуном. Лёвка Шторм за дальним столиком не утерпел и выстрелил в одну из керосиновых ламп, Лазарь возмущённо заорал, но и выстрел, и крик потонули в диком пьяном гаме и вое ветра за окном.

Буря на море после полуночи стала стихать. Дождь уже не колотил в окна упругими струями, а вяло, чуть слышно, постукивал по стёклам. Гости Лазаря начали расходиться. Те, что были потрезвее, побрели проверять вытащенные на берег шаланды и сети, кто-то, шатаясь, направился домой, кто-то заснул мёртвым сном прямо под столом. К двум часам ночи трактир опустел. На затоптанном полу поблёскивало битое стекло, зевающая Юлька сметала со столов рыбьи скелеты, хлебные крошки и изюмные косточки. У окна спал, уронив на столешницу голову, Белаш. Рядом, у кадушки с солёными перцами, прислонившись к стене и посасывая чубук трубки, сидела Роза. Её губы складывались в сонную улыбку, словно Чачанка вспоминала что-то приятное. Возле стойки Илья ругался с хозяином:

– Ну прибавь хоть рубль, Лазарь, совести у тебя нет! Полночи глотки драли, как грешники в аду, и всё задаром?

– Ничего не задаром. Ничего не прибавлю. – Лазарь был не в духе из-за утраты керосиновой лампы. – Хватит с вас, и так заведение в убытке. Совсем очумели, босяки проклятые, раньше хоть посуду били, а теперь и освещение колотят!

Илья понял, что настаивать бессмысленно, махнул рукой

и пошёл к двери.

На небе сквозь тучи продиралась красная луна. Когда Илья вышел на крыльцо, луна как раз вынырнула из облаков, и он сразу увидел Маргитку. Она стояла в нескольких шагах, у коновязи, а перед ней, удерживая в поводу своего сильного и злого вороного жеребца, стоял Васька Ставраки. Илья услышал, что они говорят о чём-то, но ветер относил слова, и понятно было лишь то, что Маргитка злится. Васька, прижав руку к груди, казалось, оправдывался. Увидев подходящего Илью, он умолк на полуслове, прыгнул в седло и улетел в темноту – лишь прошуршала галька под копытами вороного. Маргитка продолжала стоять у коновязи. Илье даже показалось, что она смотрит вслед Ваське.

– Что ему надо? – ровно спросил он.

– Ничего, – пожав плечами, отозвалась Маргитка. Стянула с перекладины ворот свою шаль и быстро зашагала по дороге, вслед за далеко ушедшим Яшкой.

Идти было недалеко. Впереди уже маячил дом с горящим окном, ворота оказались открыты настежь. Слабый свет из окна падал во двор, и первое, что увидел Илья, подойдя к дому, была… висящая на заборе упряжь. С минуту он смотрел на неё, затем недоверчиво взял в руки. Это была та самая упряжь, новая, ещё скрипящая, с медными заклёпками и махрами, которая бесследно пропала три дня назад.

– Да что ж это такое… – пробормотал Илья, растерянно

перебирая в пальцах супонь[9].

– Ослеп? Упряжь твоя, – послышался спокойный, чуть насмешливый голос.

Илья, вздрогнув, поднял голову. Маргитка стояла за его спиной. Свет из дома падал на лицо жены. Она усмехалась краем губ, вертела во рту ветку шиповника.

– Откуда она взялась?

– Васька принёс.

– С чего бы это ему приносить? – медленно спросил Илья.

– Я велела.

– Ты? Кто ж ты ему такая, чтобы приказывать?

– А какая тебе разница? – спокойно проговорила Маргитка, выбрасывая шиповник и обходя мужа. – Упряжь-то – вон она. Целая. Пляши, морэ[10], радуйся!

– Стой! – крикнул Илья ей вслед. Маргитка не останавливалась, шла дальше и уже шагнула на ступеньку крыльца. Илья догнал её, схватил за руку, дёрнул к себе. – Стой, тебе говорят! Шалава! Говори, что у тебя с ним, с Васькой? Что?!

Несколько мгновений Маргитка молча, не пытаясь освободиться, смотрела на него – а затем вдруг с силой вырвала руку, и в темноте блеснули её зубы: она расхохоталась.

Одним ударом Илья сбил её на землю. Смех тут же оборвался, Маргитка обхватила голову руками и заголосила на весь посёлок. Илья рывком поднял её; молча, тяжело дыша,

---

[9] Ремень для стягивания хомута под шеей лошади.

[10] Обращение к мужчине-цыгану.

ударил ещё раз, другой, третий, снова швырнул на землю, снова ударил. Маргитка уже не кричала, а выла, её красная юбка была вся измазана грязью, руки, тоже по локоть в грязи, закрывали растрепавшуюся голову. Бешено оглядевшись, Илья рванул с забора злополучную супонь… но дверь дома распахнулась, и на двор вылетел Яшка. Он тут же кинулся к лежащей ничком сестре, и Илья невольно опустил руку с супонью. С минуту они с Яшкой молча смотрели друг на друга. Илья не выдержал первый, длинно, сквозь зубы выругался, отшвырнул супонь и отвернулся к забору. Он слышал ворчание Яшки, уговаривающего сестру подняться, всхлипы Маргитки, чавканье по грязи шагов к дому. Наконец хлопнула дверь, всё стихло, и Илья обнаружил, что он с силой сжимает сырые от дождя колья забора и что руки у него дрожат.

Ведь так и знал, что без этого не обойдётся. С самого утра началось – и вот вам, приехали… Он, шатаясь, перешёл двор, остановился у колодца-журавля, неловко потянул верёвку и услышал, как внизу коротко плеснуло, погружаясь в воду, ведро. Вытащив и с трудом (руки ещё дрожали) установив его на влажном срубе, Илья приник к воде, окунул в неё лицо, чуть не захлебнулся, судорожно вдохнув и вылив при этом полведра себе на сапоги. Затем он оттолкнул почти пустое ведро, и чёрная палка журавля со скрипом поднялась, уткнувшись прямо в красную луну. Илья с шумом выдохнул, сел на сочащийся каплями сруб колодца, закрыл глаза.

Господи… Ведь он её так и убить мог. Спасибо, Яшка вы-

скочил. Сопливый мальчишка, щенок, лезет не в своё дело… но при нём рука не поднимается. Тьфу, дурак старый, разошёлся… и из-за чего? Ежу понятно, что ничего у Васьки с Маргиткой не было и быть не могло. Ведь случись такой грех – о нём давным-давно гудел бы весь посёлок. Сам бы Васька и рассказывал на каждом углу, что отбил жену у Ильи Смоляко. А разговоров нет, нет даже шепотка за спиной, так знакомого Илье, нет косых и насмешливых взглядов баб, и их мужья не щёлкают сочувственно языками, а раз так… А раз так, то чего же он с ума сходит? Чего бесится? Разве мало девочка с ним намучилась? Плюнет она когда-нибудь на такую жизнь и уйдёт. И ничего не испугается со своей молодостью и красотой, за которой любой, хвост задравши, побежит. А он, он, Илья Смоляко, с чем останется тогда? С этой растреклятой упряжью? Илья зажмурился. Хрипло, тихо, сквозь зубы позвал:

– Чяёри-и…

– Я здесь, Илья, здесь.

От неожиданности он чуть не упал в колодец. Заплаканная, притихшая Маргитка стояла рядом. Помедлив, Илья молча подвинулся. Маргитка, так же не говоря ни слова, подобрав юбку, уселась на сруб рядом с ним. Вздохнув, вполголоса спросила:

– Ну, доволен теперь?

Он молчал.

– Сто раз тебе говорила – не трогай лицо. Как я теперь с

такой сливой под глазом выступать буду? И губу раздуло… В другой раз сразу убивай. В колодец сбросишь, а людям скажешь, что с любовником сбежала.

Илья виновато тронул её за плечо. Ждал, что она отстранится, но Маргитка со вздохом накрыла его руку своей. Минут пять они сидели не разговаривая. В доме Дашка погасила лампу, и на потемневшем дворе отчётливее проявились лунные пятна. А вскоре и луна ушла в тучи, и о том, где находится Маргитка, Илья мог угадать только по шёпоту.

– Ну, скажи ты мне, что с тобой? Сдурел совсем? Ты подумай, чёрт бешеный, на кой мне этот Васька сдался?!

– Не говори ты мне даже про него…

– Нет, буду говорить! А ты слушать будешь! Думаешь, я от тебя так просто откажусь? Думаешь, ты мне дешёво достался? Избавиться от меня хочешь? А вот кукиш тебе с маслом в постный день! Не дождёшься, морэ, не уйду! Кнутом погонишь – не уйду! Да от кого другого я бы это всё терпела, а? От Васьки, что ли, голодранца вшивого?!

– Липнет же он к тебе. Что я, слепой?

– И что с того? Ко мне и допрежь липли, забыл? А выбрала я, на свою голову, тебя, каторжного.

– Зачем ты к нему с упряжью привязалась?

– А что? Упряжь-то новая была, хорошая, слава богу, он её продать не успел. Ты же, Илья, с барышом остался! И она при тебе, и я – без убытку… – Маргитка всё-таки отвела его руки, снова села на сруб, вздохнула. – Знаешь что, Илья? Се-

годня – ладно, чёрт с тобой… но больше ты меня не трогай. Хотя бы до осени. А то, не дай бог, опять…

– Что «опять»? – не понял он. Маргитка помолчала. Опустив голову, чуть слышно сказала: – Я же, Илья, снова…

– Д-девочка… – Он наконец понял, глядя, как Маргитка смущённо гладит свой живот. – Маленькая… Отцы мои! Да что ж ты молчала-то? Сколько?!

– Третий месяц…

– Чяёри… Да если б я знал… Я бы тебя ни одним пальцем… Да что ж ты, дура, не говорила-то ничего, а?!

– Ты что, не цыган? – разозлилась Маргитка. – Кто про такое говорит?! Вон Дашка до последнего молчит, пока фартук не встопорщится! И я бы молчала, только боюсь… Боюсь… – Неожиданно она заплакала.

Совсем сбитый с толку, Илья обнял её худенькие плечи, и Маргитка повалилась головой ему на грудь.

– Боюсь я, господи, Илья… Так боюсь… Вдруг и третьего выкину? Что тогда? Ты же меня броси-и-и-ишь…

– Молчи… Как я тебя брошу? Куда я сам тогда денусь?

– Куда-куда… В Москву вернёшься. У тебя там жена законная.

– Дура! – сказал он, отворачиваясь.

Маргитка испуганно умолкла. Но тут же ахнула, всплеснула руками и вскочила:

– Ой! Ой! Илья! А буланый-то? Буланый-то твой так по улице и бродит?! Ты что, не рассёдлывал?!

– Ох… – спохватился он, вставая.

– Ну, вот вам, люди! А потом жалуется – пропадает всё! – Маргитка потянула его за руку. – Идём искать! Вот с таких-то дураков Васька и жив!

Буланого, к счастью, никто не увёл. Он мирно переминался с ноги на ногу у плетня и обжёвывал соседскую черешню. Оттолкнув Илью, Маргитка сама повела жеребца в конюшню, ворча, расседлала, принесла ведро воды. Илья не мешал Маргитке. Незаметно отойдя в пристройку, наполовину заваленную степным, пахнущим полынью сеном, он улыбнулся в темноте и негромко позвал:

– Чяёри!

– Чего тебе? – неохотно отозвалась она.

– Смотри, что нашёл.

Маргитка за стеной, видимо, колебалась, но любопытство взяло верх, и вскоре она уже стояла на пороге сарайчика, недоумённо вглядываясь в темноту.

– Илья, ты где? Что ты нашёл?

Он увлёк её за собой так быстро, что Маргитка не успела даже ахнуть. Повалился вместе с ней в колкое, пахнущее горечью сено, задыхаясь, уронил голову на молодую, тёплую грудь.

– Илья! Да ты что? Илья! Чёрт бешеный, пусти! – Маргитка, хохоча, отбивалась, засыпала его охапками сена. – Пусти! Пусти! Да что ж это такое, бог ты мой… Илья… Ну-у-у… Ох, Илья… Про-кля-тый… ненаглядный мой… Подожди…

Подожди, порвёшь… Ох… Ах… Стой… А-а-ай…

…В открытую дверь сарайчика изумлённо глядела луна. За стеной негромко всхрапывали лошади. Буланый не спал и бродил по конюшне, шурша соломой. Луна заходила. Близился рассвет. Илья лежал неподвижно, смотрел на опускающийся красный диск, гладил по волосам Маргитку. Она давно спала, прильнув к нему. Девочка. Его счастье, его радость, последнее, что у него осталось. Она здесь, рядом, она никуда не денется от него. Отчего же так саднит сердце? Отчего он снова думает о том, что давно прошло, чего не вернуть, никогда не исправить, не переделать? Шесть лет минуло, незачем вспоминать… Но разве забудешь, как уходил на рассвете из собственного дома, уходил, не прощаясь с детьми, с Настей? У неё хватило сил отпустить его. Он уходил, стараясь ни о чём не думать, а в мыслях вертелось лишь одно: Балаклава, Маргитка, ждёт ребёнка… Что было с ним, с Ильёй, тогда? Горячка, болезнь, одурь?

В Балаклаве Маргитки он не нашёл. Тамошние цыгане сказали Илье, что семья Яшки с полмесяца назад уехала неизвестно куда. Целый месяц он искал их по всему Крыму, и вот на одном рынке встречный цыган на вопрос Ильи протяжно зевнул и переспросил: «Арапоскирэ? Москватыр?[11] А-а… За окраиной живут, с крымами».

Когда он верхом прилетел на дальнюю окраину города, где жили крымские цыгане-кузнецы, небо уже потемнело и

[11] Из рода Арапо? Московские?

море затянулось алой закатной плёнкой. Старуха цыганка, вся обвешанная монистами, жуя беззубым ртом, показала ему на крохотную глиняную хатку. Через грязноватый, покрытый побелевшим лошадиным навозом дворик тянулась верёвка. На ней полоскались под ветром цветные тряпки, и Илье сразу же бросилась в глаза зелёная шаль с яркими маками. Шаль Маргитки. Значит, здесь… Руки казались чужими, когда Илья торопливо привязывал повод лошади к перекладине забора. Из дома донёсся знакомый хрипловатый голос:

– Яшка, ты? Чего так рано? – и на крыльцо выбежала Маргитка.

Она страшно изменилась за эти полгода вдали от него, ещё больше похудела, осунулась. Чёрный вдовий платок, низко надвинутый на лоб, старил Маргитку на десять лет, лицо потемнело так, что казалось сожжённым. Зелёные глаза, которые полгода не давали ему спать, смотрели тревожно.

Наверное, он тоже изменился, потому что Маргитка, загородившись ладонью от закатного солнца, долго и удивлённо разглядывала Илью, явно не понимая, что за цыгана принесло на двор к ночи. А потом она закрыла глаза. Глухо, едва разжимая губы, проговорила:

– Ты зачем приехал? За ребёнком? Он умер.

Илья молчал, не зная, что ответить. Неприкрытая враждебность Маргитки огорошила его. Это была уже не та девочка-плясунья с тонкими руками, лукавой улыбкой, девоч-

ка, которую он любил, к которой рвался ночи напролёт. И как разговаривать с этой женщиной во вдовьем платке, с затравленным взглядом, Илья не знал.

– Не бойся, – наконец произнёс он. – Я насовсем приехал. К тебе. Всё бросил. Всех. Как ты хотела.

Маргитка не отвечала ему. Илья понял – всё. И молча начал отвязывать от забора повод. Маргитка позволила ему это сделать, позволила взяться за луку седла, сесть верхом… и кинулась опрометью с крыльца, раскинув руки.

– Илья!!! – хлестнул его страшный, грудной крик.

Илья едва успел спрыгнуть с коня, поймать Маргитку в охапку, прижать к себе. Она кричала не переставая, голосила что-то бессвязное, заливалась слезами, некрасиво оскалив рот, и Илье приходилось напрягать все силы, чтобы не выпустить её из рук.

– Ну… ну… Ну, девочка, всё… Успокойся, маленькая, прошу… Не уйду я никуда. Теперь совсем с тобой останусь. Уймись, не кричи, люди сбегутся, цыгане…

– Да что мне цыгане… Что мне твои цыгане… – бормотала она, отталкивая его руки и тут же ловя их, чтобы покрыть неловкими поцелуями. – Если бы ты знал, проклятый, как я жила… Полгода, полгода как я жила… Я же… я не ждала тебя… Что у вас случилось? Дашка сказала, что ты с ней, с Настькой, навсегда, а ты… Почему ты здесь?

– Потому что… Всё, чяёри. Всё. Не знаю, как эти полгода прожил. Не могу без тебя.

Скрипнули ворота. Илья поднял голову… и встретился взглядом с ошарашенными глазами Яшки. Тот стоял посреди двора, держа в поводу рыжую кобылу, и с открытым ртом смотрел, как его тесть обнимает его сестру. Кобыла оказалась впряжена в татарскую арбу с огромными колёсами, а на арбе сидела, поджав под себя ноги, Дашка. Некоторое время во дворе было тихо, лишь похрумкивала кобыла. Илья даже не сообразил, что надо бы хоть из приличия отпустить Маргитку. А та, уже заметившая брата, испуганно смотрела на него, и Илья почувствовал, что она дрожит.

Первое слово принадлежало Дашке. Она боком слезла с арбы, оправила юбку и спокойно, словно они расстались час назад, спросила:

– Дадо[12]?

– Да, я, – машинально ответил Илья.

Дашка, глядя невидящими глазами в небо, чуть улыбнулась.

– Знала, что придёшь. – И, полуобернувшись к мужу, сказала: – Яша, пойдём в дом. Я тебе объясню.

Яшка послушно, как телёнок, тронулся за женой, забыв даже поздороваться. Он сделал это полчаса спустя, когда вышел на уже тёмный двор и сдержанно пригласил тестя заходить. Илья уже успел решить, что ни объяснять ничего, ни оправдываться перед мальчишкой он не станет, но Яшка повёл себя так, словно всё случившееся было в порядке вещей.

---

[12] Отец.

С того дня в его глазах зажглась та недобрая, презрительная искра, которая доводила Илью до бешенства. Тем более что ответить на подобный взгляд ничем было нельзя: Яшка молчал, и Илья понимал, что этим он целиком обязан дочери. Судя по всему, из любви к жене Яшка согласился терпеть тестя. За шесть лет между ними не случилось ни одной ссоры.

В первую ночь они с Маргиткой не спали. Лежали в потёмках, обнявшись, и она, спрятав лицо у Ильи на груди, всё говорила и говорила, и всхлипывала, и снова рассказывала, как жила без него. Илья узнал, как они с Яшкой вдвоём убежали из Москвы, как не было денег, как они мотались по гостиницам и постоялым дворам, понемногу распродавая Маргиткины украшения, как она пыталась гадать, не зная толком, как это делается, как бросила гадание, заметив, что богатые мужчины, которых она хватала за рукав, не слушали её болтовни, а таращились на неё саму. А живот всё рос, Маргитку тошнило день ото дня сильнее и сильнее, вскоре она уже почти не могла есть… И тут им повезло: в Ахтырке Яшка встретился с сэрвами[13]-барышниками, которые знать не знали московских цыган. В тот день Яшка попытался заставить сестру надеть вдовий платок, но она отказалась наотрез. Не помогла ни Яшкина ругань, ни две оплеухи, ни угрозы бросить её, беременную шлюху, одну в трактире подыхать с голоду. Маргитка лишь плакала и отказывалась.

Яшка, конечно, вёл себя правильно. Прийти к цыганам с

[13] Этническая группа украинских цыган.

беременной сестрой было невозможно. Маргитку тут же назвали бы гулящей, с ними обоими перестали бы здороваться, а об общих делах с кофарями тогда не стоило бы и думать. Так было всегда в цыганских таборах. Назвать Маргитку замужней? А что ответить на неизбежные вопросы о том, где её муж и почему она, беременная, кочует не с семьёй мужа, а с братом? Вариант был один: вдова. Но Маргитка всерьёз боялась, что этим накличет на Илью смерть, и, ничего не объясняя, напрочь отказывалась повязать вдовий платок. В конце концов Яшка плюнул, обругал бога, чёрта и Маргиткиных родителей и предложил назвать её собственной женой. К счастью, они, сводные брат и сестра, не были похожи. На это Маргитка с грехом пополам согласилась, и зиму они прожили с сэрвами в Ахтырке.

Яшка понемногу втянулся в лошадиные дела: менял, продавал, ездил с цыганами в табунные степи за полудикими киргизками, перегонял их в Кишинёв и Одессу. Маргитка училась гадать, ходила с цыганками по хуторам. Когда ей остался месяц до родов, Яшка, решив, что теперь-то всё наладилось, уехал за Дашкой в Москву. Через два дня после его отъезда Маргитка, находясь одна дома, подняла тяжёлый таз с бельём. И тут же упала в лужу разлитой воды, среди мокрого тряпья. Боль была такая, что она не могла даже кричать. Лишь утром её нашли цыганки. Маргитка разрешилась до срока мёртвой девочкой.

Через месяц вернулся Яшка с молодой женой. Он пришёл

за Маргиткой один, ночью, и на рассвете они уехали из Ахтырки, бросив почти всё нажитое добро. Что смогли взять с собой – унесли, лошадей Яшка продал заранее. Оставаться было нельзя: как теперь, при Дашке, выдавать Маргитку за свою жену?

«Если бы не твоя Дашка – он бы меня убил, наверное», – убеждённо проговорила Маргитка, рассказывая Илье о тех днях. Слушая её, Илья был готов придушить Яшку и в то же время чувствовал к парню невольное уважение. Всё же тогда Яшке только исполнилось шестнадцать, и он остался один, без денег, без привычного заработка, без родных, с беременной невесть от кого сестрой на руках. Слава богу, помогли полученные в своё время навыки на Конной площади в Москве… Они втроём уехали в Харьков, и там Маргитке всё же пришлось надеть вдовий платок. Она, больная, измученная преждевременными родами, оставшаяся без ребёнка, не могла протестовать. Такой её и нашёл Илья.

Утром собрались за столом уже вчетвером, и Яшка спокойно сказал, что теперь и отсюда надо уезжать. Илья был согласен: не выдавать же, в самом деле, Маргитку и дальше за вдову… Договорились ехать в Симферополь: Илья слышал, что там неплохая конная ярмарка.

Теперь, конечно, переезжать было легче. Яшка без слов передал первый голос в семье тестю: всё же Илья один взрослый среди этого молодняка, из которого старшей, Маргитке, всего восемнадцать лет. Кофарем Илья был в сто раз луч-

шим, чем Яшка. Илья знал кочевье, кроме того, у него имелись деньги. И когда семья, приехав в Симферополь, остановилась в посёлке крымских цыган, Илья подумал, что все несчастья закончились.

Зря надеялся. Всё только тогда и началось. Если раньше в Маргитке сидело, по выражению Митро, «сорок чертей», то теперь эти черти явно переженились и наделали детей: не меньше сотни. За прошедшие полгода Маргитка похудела, потемнела, осунулась, но почему-то стала от того ещё красивее. В зелёных глазах появилась незнакомая Илье бесшабашная, шальная искра. Во всей фигуре Маргитки, в походке, во взгляде, в повороте головы теперь постоянно сквозило что-то такое, что заставляло мужчин бросать свои дела, останавливаться посреди дороги, оборачиваться вслед идущей девчонке и провожать её глазами. И ведь даже цыгане не могли удержаться! Даже цыгане, хорошо знавшие, что смотреть так на чужих жен нельзя, что подобные взгляды нужно оставлять для шалав! А эта проклятая девка, казалось, не понимала ничего. И ходила без платка по цыганской деревне, разбросав по плечам косы, под негодующими взглядами женщин. И, не стесняясь, просила закурить у мужчин. И на праздниках плясала дольше всех и смеялась громче всех, и цыгане останавливались посреди пляски, чтобы посмотреть на её бесстыдную улыбку и послушать звонкий, зазывный смех. Илья знал крымских цыган, понимал, что добром это не кончится. Несколько раз он пробовал поговорить с женой по-хороше-

му – Маргитка только смеялась и пожимала плечами. Илья пытался объяснить, что здесь – не Москва, где Маргитка была хоровой плясуньей, где цыганки носили платья, шляпы и туфли на каблуках. Здесь – посёлок, тот же табор, все друг у друга на виду. Крымские цыгане не потерпят у себя потаскуху… Но тут Маргитка взрывалась:

– Это я потаскуха?! Я шлюха?! А ты меня ловил? Мужиков с меня снимал?! Отвяжись, сам кобель переулошный!

Она кричала сердитые слова, смотрела в лицо Илье своими зелёными глазищами, улыбалась, блестя зубами, и он видел – Маргитка ни капли его не боится. И тем обиднее было замечать, что стоило сопляку Яшке не только сказать одно слово, но просто задержать взгляд на сестре чуть дольше, и она тут же стихала и сжималась, как тронутый соломинкой жучок. Яшки она боялась смертельно, но тот никогда не вмешивался в их ссоры с Ильёй. И лишь однажды вечером, когда Маргитка явилась домой чуть не ползком, с разбитым в кровь лицом, в изодранной одежде, у Яшки вырвалось:

– Доигралась, курва?!

Маргитка не спорила. Размазывая по подбородку и щеке бегущую изо рта кровь, она рассказала, что её избили цыганки. «Чтоб мужиков не приваживала». Слава богу, ей удалось спасти косы, которые крымки хотели отрезать. Каким-то чудом Маргитка вырвалась и убежала, но Илье было понятно: теперь и отсюда придётся убираться.

Из Симферополя они поехали в Кишинёв. Илья решил

больше не рисковать и не селиться вместе с таборными и поэтому, оказавшись в городе, сразу отправился искать ресторан, где пели цыгане. Таких в Кишинёве было полным-полно. В том, что семью московских артистов примут на работу не раздумывая, Илья не сомневался, и уже на другой день он и Яшка стояли с гитарами, Дашка пела, а Маргитка отплясывала на паркете под аплодисменты зала. Вроде бы чего ещё желать? И в самом деле, Маргитка как будто повеселела, снова стала заказывать себе наряды у модисток, укладывать причёски, посмеивалась над беременной Дашкой, шальной ведьмин блеск в её глазах улёгся. Илья вздохнул спокойнее. Но однажды во время пляски Маргитка вдруг замерла посреди паркета на цыпочках, с поднятыми руками, и Илья впервые увидел на её лице жалобное, растерянное выражение. Через мгновение она лежала в обмороке на полу. Через десять минут Илья, стиснув голову руками, сидел у двери маленькой «актёрской», откуда доносились сдавленные стоны и причитания женщин. Через час оттуда, держась за стену, вышла бледная Дашка.

– Она жива? – хрипло спросил он.

– Не бойся, с ней всё хорошо, – Дашка пошарила руками в воздухе и села рядом с отцом. – Ребёнка вот больше нет…

– Я… Я знал, что так будет. Понимаешь – знал… – с трудом выговорил он, сам не замечая, что ищет руку дочери. – Это… это судьба, наверное. Второй уже…

– Ну-у… – Дашка дала ему руку, тронула за плечо. – Ни-

чего, дадо. Она молодая. Всякое бывает. Не думай плохого, у вас ещё полон дом детей народится.

Илья молчал. Чувствовал, как Дашка гладит его сведённый судорогой кулак, понимал, что надо бы отстраниться, не годится распускать себя перед дочерью, и так чудо чудное, что она его до сих пор уважает… но шевелиться не было сил. Он не смог сказать ни слова даже тогда, когда Дашка на миг обняла его за плечи, встала и ушла к Маргитке.

Оправилась Маргитка быстро. Через неделю она снова плясала в ресторане, ещё бешенее, чем раньше. Кишинёвские господа сходили с ума, на чудо-цыганку съезжались чуть ли не поездами, деньги, цветы, украшения лились рекой. И Илья видел: черти, притихшие было в девочке, ожили снова. И мог бы догадаться, старый дурак, что вот-вот грянет новая беда. Не додумался даже сообразить, что в ресторанном ансамбле других женщин, кроме Дашки и Маргитки, нет. А когда Дашкин живот уже нельзя было скрыть, осталась одна Маргитка.

Молдавские цыгане оказались совсем не такими, как московские. Это были лаутары-скрипачи, пели они плохо и мало, плясать не умели вовсе. Под их скрипки в ресторане пили, ели и разговаривали, обращая на музыкантов внимания не больше, чем на дождь за окном. Только когда старик Тодор поднимал смычок, гости отвлекались от своих тарелок. Играл старик и в самом деле хорошо, с ним работали двое сыновей-скрипачей, зять-цимбалист и старший внук с буб-

ном. Внуку этому было лет тринадцать, отцу мальчишки едва сравнялось тридцать, и Маргитка в считаные дни заморочила голову обоим. Яшка, кажется, догадывался об этом, но молчал. Дашка, разумеется, тоже знала, но не решалась говорить о таких вещах с отцом. А Илья и не знал, и не догадывался, пока в один из вечеров к нему в дом не вошёл мрачный как туча старый Тодор. На приглашение Ильи сесть за стол старик не ответил. Глядя себе под ноги, глухо сказал:

– Морэ, я уже спрашивать боюсь, цыган ты или нет.

– В чём дело? – растерялся Илья. – В моём роду гаджэн[14] не было.

– Значит, ты из своего рода выродок.

Илья вспыхнул, но из уважения к возрасту старика промолчал. Откашлявшись, Тодор продолжал:

– Может быть, ты слепой? У русских цыган не принято жён в узде держать? Привяжи свою жену, морэ, скоро она тебя опозорит. А я свою семью позорить не дам. У моего Стэво жена, семь детей, у старшего свадьба скоро. А твоя Маргитка перед ними подолом трясёт. Какой ты цыган, если я тебе должен это говорить?

Илья не испугался. Бояться было нечего, Тодор не привёл с собой мужчин, он явно не хотел драки. Но такого стыда Илья не испытывал уже давно. Краем глаза он взглянул на Маргитку. Та стояла у стола, сжимая в руках оплетённую бутыль красного вина. Ресницы её были опущены, но углы

[14] Нецыган.

губ странно кривились, не то в усмешке, не то в презрительной гримасе. Яшка стоял, отвернувшись к стене. Дашка застыла у печи. Илья заметил, как дочь тронула Маргитку за запястье, но та резко вырвала руку.

Всё же надо было что-то делать. Поднять глаза Илья так и не сумел и медленно, раздельно проговорил:

– Не беспокойся, Тодор. Завтра мы уедем.

Старик вышел не прощаясь. Хлопнула дверь. Тишина.

– Су-ука… – горестно протянул Яшка, и Илья даже подумал, что парень сейчас ударит сестру. Но тот сумел удержаться и быстро, грохоча сапогами, вышел из дома. Маргитка продолжала стоять у стола. Лицо её было неподвижным, лишь по-прежнему кривились углы рта.

– Допрыгалась? – спросил Илья. Маргитка взглянула на него, но ответить не успела: Илья ударил её по лицу. Она упала, тут же вскочила, как отброшенная пинком кошка. Кулаком вытерла кровь с разбитой губы, коротко и зло усмехнулась. Не будь этой усмешки, может, Илья сдержался бы. А так опомнился лишь тогда, когда Дашка с криком повисла у него на руках:

– Дадо, хватит, ты убьёшь её!!!

До утра Илья просидел в конюшне. Курил трубку, не думая о том, что искра может поджечь сухое сено, слушал лошадиное всхрапывание из темноты. Ворота конюшни были открыты, и он видел дом с горящими окнами: там складывали вещи.

Как всегда в минуты боли, он думал о Насте. Не жалел ни о чём, не мучился, не каялся – всё равно ничего вернуть уже нельзя было. Но вырезать из памяти семнадцать лет жизни тоже никак не получалось, да и с кем ещё, кроме Настьки, он мог говорить о чём угодно? Прикрывая глаза, Илья словно видел её наяву: по-молодому стройную, в знакомом чёрном платье, с гладким узлом волос.

«Ну, вот, Настька… Видишь, что делается?..»

«Вижу».

«Откуда я знаю, что с ней делать?! Как с цепи сорвалась! И ведь душу положу, что ничего у неё с теми лаутарами не было!»

«Конечно, не было».

«А какого тогда чёрта? Что ей опять не так? Ресторан, деньги… плясала… – опять не слава богу!»

«Молодая ещё. Перебесится».

«Что-то ты не бесилась… Помнишь, как в таборе с тобой жили?»

«Ну, вспомнил… Я тебя любила».

«А она что же… нет?»

«Не знаю, ваши дела. Но от меня-то ты в своё время не отказывался. Меня беременную не бросал».

«Откуда я знал, что она беременная? Что теперь – всю жизнь мне глаза колоть будешь? Сказала бы лучше, что делать!»

Илья уронил трубку, искры заскакали по штанам, он, чер-

тыхаясь, поспешил затушить их пальцами. Криво усмехнулся, подумав: вот и с ума сходить начинает. Мало того что с Настькой разговаривает, которая сейчас за тыщу вёрст отсюда в Москве романсы поёт… так ещё и о чём разговаривает! О том, как с молодой женой жизнь налаживать! Тьфу… Сказать кому – со стыда сдохнешь. Но на душе почему-то стало легче, и Илья, всё ещё посмеиваясь над собой, спрятал выбитую трубку за голенище, лёг, закинул руки за голову, ещё раз представил себе Настю – на этот раз совсем молодую, с косами до колен, – улыбнулся и заснул.

Утром они покинули Кишинёв. Уехали, как таборные, на бричке с крытым верхом, с привязанными сзади лошадьми. Когда по сторонам большака замелькала рыжая степь, Яшка решился открыть рот:

– Куда поедем, отец?

– В Одессу.

Сейчас Илья уже не помнил, кто из цыган в Одессе рассказал ему про рыбачий посёлок на берегу моря и про то, что там продаётся дом. Но они пришли туда, и дом действительно продавался, и во дворе дома были конюшня и колодец-журавль, и Яшка явно дал понять, что он теперь шагу отсюда не сделает. Илья не спорил. Он твёрдо решил, что не повезёт больше Маргитку к цыганам ни под каким видом, а в этом посёлке цыган не было. Лишь год спустя пришла Чачанка с сыном, у которых тоже имелось что-то за душой. Вопросов они друг другу не задавали и стали понемножку жить вместе

с другим разноплемённым сбродом, наводнявшим посёлок. Илья и Яшка торговали лошадьми, иногда развлекали народ в трактире Лазаря, Дашка исправно рожала каждый год, и Илья уже начал думать, что жизнь налаживается.

Ни о Насте, ни о детях он ничего не знал. Да и от кого было узнавать? Даже Варька, сестра, единственная родня на свете, ни разу за эти годы не приехала к ним в гости. Илья пытался убедить себя в том, что Варька просто не знает, где он, но уговоры эти помогали мало. Он не судил сестру: ведь Варька, бездетная вдова, всю жизнь прожила при его семье, поднимала вместе с Настей детей, любила их. И, наверное, не смогла, не сумела теперь, как прежде, принять сторону своего непутёвого брата. Илья не судил её… но душа болела. Он никогда не сомневался, что Варька будет с ним, что бы ни случилось. Оказывается – нет… Значит, и сестра осталась там, в прошлом, в отрезанном куске жизни, с которой было покончено навсегда. Окончательно Илья понял это, когда Яшка, встретивший на одесском базаре цыган из Москвы и узнавший от них кучу новостей, рассказал о свадьбах Гришки и Петьки, старших сыновей Ильи. Со дня Петькиной свадьбы уже прошло больше года… Услышав эту новость, Илья под первым же предлогом ушёл из дома, не заметив тревожного взгляда Маргитки, и до утра просидел на песке возле моря, глядя на дрожащие в темноте звёзды. Что толку врать самому себе – он скучал по своим мальчишкам. Не было дня, чтобы не вспомнились эти смуглые черноглазые рожицы, не

было дня, чтобы не подумалось: что они делают сейчас, как живут, чем занимаются? Все, строем, пошли в хор или хоть один орёт с кнутом в руках на Конной и лазит у лошадей под животами, как он сам в молодые годы? Младшие, кажется, любили это дело, Илья брал их с собой на рынок чуть не с пелёнок, надеялся, что хотя бы из Петьки с Илюшкой выйдет что-то, похожее на него самого… Ничего теперь не выйдет, с горечью говорил он себе, бросая в море плоские камешки, беззвучно уходящие в чёрную воду. Мужиками стали – без него, женились – без него, и бог знает, что они думают о нём, об отце, который не появился даже для того, чтобы благословить их образом перед свадьбой. Кто виноват? Никто…

В полуоткрытую дверь конюшни осторожно вполз рассветный луч. Луна погасла, растаяв в дымке ранних облаков. Маргитка что-то пробормотала во сне, повернулась, раскинув по сену голые руки. Илья придвинулся, потянул жену на себя, погладил. Вспомнив о том, что она сказала, осторожно положил ладонь на её живот. Снова, значит… Четыре года не несла, он уже места себе не находил, думал, что причина в нём, что старый стал…

– Пошёл вон… – проворчала Маргитка, не открывая глаз. Сбросила руку Ильи, перевернулась на живот и заснула снова.

Илья вздохнул, поднялся, стряхнул с головы сено и отправился к лошадям.

Глава 3

Среди ночи Настя проснулась от странного звука: казалось, дрогнуло оконное стекло. Она подняла голову с подушки, испуганно осмотрев тёмную комнату. Через мгновение звук повторился: кто-то кинул камешком в окно. Вскочив, Настя отдёрнула занавеску, перегнулась через подоконник. Внизу, возле запертой калитки, темнела женская фигура в длинной юбке и шали. Привидение помахало рукой, и Настя тихо ахнула:

– Варька!

Прямо в рубашке, не накинув даже шали, она вылетела из комнаты, сбежала по ступенькам, пронеслась через пустую, залитую светом заходящего месяца нижнюю залу, открыла дверь, вторую, третью… Через пять минут они с Варькой вдвоём на цыпочках поднялись на второй этаж.

– Проходи сюда! – Настя впустила Варьку в комнату, зажгла свечу, плотно закрыла дверь. – Ты чего это середь ночи?

– А наш Илюшка разве не завтра венчается? Я, как узнала, всё бросила и помчалась на рысях… В церковь завтра, слава богу, успею! – Варька, сев на стул, устало развязывала шаль. Неровный свет прыгал на её худом большеносом лице. С возрастом сестра Ильи, всю жизнь считавшаяся некрасивой, неожиданно похорошела: резкие черты смягчились, заметнее стала красота больших влажных глаз с густыми рес-

ницами, в чёрных косах ещё не мелькала седина. Спутанные волосы Варьки выбились из-под тёмного платка, и она, морщась, принялась заправлять их обратно. Настя с грустью смотрела на этот вдовий знак: Варька, потеряв мужа в молодости, не сняла чёрной косынки по сей день.

Настя знала Варьку столько же, сколько Илью: больше двадцати лет. И почти всё это время брат и сестра Смоляковы были вместе. Даже замуж Варька вышла в тот же табор, с которым кочевала семья брата. Вышла без любви и даже без особой охоты. Просто потому, что Илья в один из вечеров спросил: «Тебя Мотька сватает, пойдёшь?»

Варька подумала – и согласилась. Согласилась потому, что никогда не обманывалась на свой счёт и понимала: ее тёмное, словно закопчённое, лицо, слишком большой нос, выпирающие зубы никого не привлекут. Ей не нужен был муж, но она хотела детей. Да и Мотька тоже не любил её, просто взял хозяйку в шатёр, Варька это знала. И пошла замуж с лёгким сердцем, уверенная, что никого не обманывает. Им с Мотькой было, в общем-то, наплевать друг на друга, и больше месяца они жили хорошо и спокойно. А потом Мотьку убили во время кражи лошадей на Дону, возле казацкого хутора, где стоял табор. Илью тогда спасла, заслонив собой, Настя и поплатилась за это красотой, но он остался жив. А Мотька умер, и, голося с распущенными волосами на поминках, Варька чувствовала в глубине души: плачет не по мёртвому мужу, не по себе, ставшей вдовой в двадцать один год, а из-

за того, что не успела забеременеть. Последняя надежда на счастье была похоронена. Оставалось носить чёрный платок и по обычаю жить в семье покойного мужа на положении невестки. Однако это оказалось уже выше Варькиных сил, и она твёрдо объявила свёкру и свекрови, что возвращается в семью брата. Скандал был большой, но Варька всё-таки ушла к Илье и Насте.

С ними она и прожила семнадцать лет. Вместе с Настей поднимала детей, возилась с ними, кормила, купала, вытирала чумазые мордочки, учила ходить, а позже – плясать и петь. Зимовать она уезжала в Москву, в хор, где её всегда принимали с распростёртыми объятиями, и, отпев сезон, возвращалась снова к Илье и Насте. Репутация Варьки как вдовы была столь безупречной, что даже злоязыкие цыганки не смогли усмотреть ничего плохого в её одиноких кочевьях.

– Прости, что разбудила. – Варька смущённо улыбнулась. – Ты ведь из ресторана? Ложись обратно, спи, а я на кухню пойду, на сундуке устроюсь…

– Брось. Куда я лягу? И не из ресторана вовсе, мы вчера целый день к свадьбе готовились, не до пения было… Есть хочешь? Сейчас спущусь, принесу что-нибудь. Бог мой, я тебя два года не видела!

– Не ходи никуда! Сядь со мной. – Варька положила сухую, обветренную ладонь на рукав Настиной рубашки и снова улыбнулась. – Я не голодная, устала только. Как вы тут? Как дети? Что это Илюшка жениться собрался?

– Да так вот… – вздохнула Настя, присаживаясь рядом за стол. – Что мне его – держать? Парню восемнадцать, пусть женится. Девочка славная, плясунья, поёт хорошо… Да бог с ними! – оборвала вдруг Настя саму себя. – Про себя расскажи! Почему не ехала столько времени, где тебя носило? Наверное, до самой Африки со своим табором добралась? Вот ведь душа твоя неугомонная! Как я тебя просила, как Митро уговаривал – оставайся, пой в хоре, живи, тебе тут все рады… Нет, потащилась в телеге по ухабам невесть зачем!

– Отчего не потащиться? – улыбнулась Варька. – Я же таборная. В Африке, врать не стану, не была, а по Сибири помотались дай боже. И по Уралу, и по Волге… Дела. Кочевье. Сама помнишь, небось.

– Одна кочуешь?

Варька пристально взглянула на Настю. Та не отвела глаз, и Варька, вздохнув, вполголоса сказала:

– Нет, я его не нашла.

Наступила тишина, в которой отчётливо слышалось тиканье ходиков. Настя сидела, опустив голову на пальцы, с закрытыми глазами. Варька смотрела через её плечо в открытое окно.

– Почему ты мне не веришь? Когда я тебе врала? Илья же брат мне, у меня, кроме него, никакой другой родни нет… Какой уж год ищу – и ничего! Цыгане, кто его встречал, все разные места называли, я только туда приеду – а их уже и след простыл! По всей Бессарабии за ним гонялась, а толку

никакого. И хоть бы знать о себе дал, бессовестный…

– Да ведь тебя тоже не сыщешь. – Настя не поднимала головы, и голос её звучал глухо. – Что за нелёгкая вас обоих по свету носит? Давно уж угомониться пора.

– Вот найду Илью и сразу из табора съеду, – твёрдо проговорила Варька. – Вернусь к вам в Москву, буду в хоре петь… – Минутная пауза. – Это правда, что мне тут цыгане рассказали?

– Про что?

– Про князя Сбежнева. Что ты согласилась.

– Врут твои цыгане, – помолчав, сердито сказала Настя. – Не согласилась ещё. Думаю.

– Так это и значит, что согласилась, – без улыбки отозвалась Варька. – Он хороший человек. Выходи, сестрица, не прогадаешь.

Настя встала, прошлась по комнате. Задержавшись у зеркала, вынула из растрёпанной причёски несколько шпилек. Держа их во рту и укладывая заново волосы, невнятно спросила:

– Ты правда радуешься? Не обидно, что я твоего брата на князя меняю?

– Илья ведь тебе давно не муж. – Варька отвернулась к окну. – Знаю, я его сестра, я его всегда защищала, чего бы ни натворил, но… Не ждала я от него такого. Всё думала поначалу: опомнится, вернётся к тебе, а он… Слушай, за что ты его любила, а? Ну за что?! Чего ты от него хорошего видела?

– Пел лучше всех. – Настя невесело усмехнулась, глядя в зеркало. – У-у, Варька… Да если бы бабы за одно хорошее любили, разве бы у Ильи их столько было? Дуры мы, вот и всё.

Она вернулась к столу. Варька молча взяла её за руку. Настя, ответив слабым пожатием, улыбнулась. Варька заметила эту улыбку.

– О чём ты?

– Так… Вспомнила вдруг. Ведь Илья меня тоже как-то про это спрашивал. В то лето, когда мы с ним в Москву вернулись и здесь, в этой самой комнате поселились. Помню, ночью из ресторана приехали, сидим вот так же, разговариваем, сейчас уж не помню о чём… И вдруг он спрашивает: «Настька, а если б я петь совсем не умел, ты бы за меня пошла?» Мне смешно стало, подумала – шутит он, а потом смотрю – всерьёз… Мне, правда, и в голову не пришло ничего, удивилась только. А он тогда уже два месяца с Маргиткой… – Голос Насти вдруг дрогнул. Варька тронула её за плечо, но она не глядя отмахнулась.

– Кобель, и ничего больше, – зло бросила Варька. – Ты не плачь, пхэнори, много чести – плакать из-за него. Кнута бы ему хорошего за всё это, вот что!

– За что же пороть хочешь? – через силу улыбнулась Настя. – За то, что он другую полюбил? Люди в таких делах-то над собой не вольны…

– Не любовь это, а бес в ребро! – отрезала Варька. – Мог

бы подумать башкой своей пустой, что от семерых детей за любовью не бегают!

– Бес в ребре по шесть лет не сидит. – Настя вытерла глаза, вздохнула. – Оставь, Варька. Пусть живёт как хочет. Лишь бы доволен был. И не смотри, что я реву, это так… Накатило что-то. И сердца у меня на него нет, не бойся, всё-таки семнадцать лет хорошо прожили.

– Как же, хорошо… – упрямо возразила Варька. – Шлялся, как паскудник последний, всю жизнь.

– Все цыгане такие – забыла?

– Может, и все. Только не все же на тебе женаты! Другой бы каждый день в церкви свечу в полпуда ставил за такую жену, а этот… Тьфу, даже говорить про него не хочу! Права ты, пусть живёт как знает. А ты хоть в княгинях походишь. И поживёшь по-людски. Сбежнев для тебя всё сделает, луну с неба попроси – достанет.

– И что я с ней делать буду? – Настя снова улыбнулась. Помолчав, сказала: – Я ещё ничего не решила. И ответа ему пока не давала. Вот кончится это всё: свадьба, лето… тогда и решим.

– Не тяни, сестрица, – серьёзно посоветовала Варька. – Годы наши уже не те, чтобы женихами разбрасываться. Дети вырастут, ты вон уже третьего сына женишь. Разбегутся, и что потом?

Настя повернулась к ней, внимательно всмотрелась в большеглазое, тёмное от загара, словно опалённое степным

солнцем, лицо. Варька ответила слегка удивлённым взглядом, и Настя спросила:

– Ты сама вот отчего замуж не выходишь? Уж сколько лет вдова, а не торопишься.

– Никто не берёт, – в тон ей проговорила Варька. – Ты что, милая? На себя посмотри и на меня! К тебе и через десять лет женихи строем будут приходить, а мне чего ловить?

– Ладно тебе… Сватались же, я знаю. Отчего не шла?

– Не хотела. Не знаю почему. Наверное, однолюбка.

– Да? А мне всегда казалось… Ты извини меня, конечно, но… Я думала, что ты Мотьку не любила.

– Правильно думала. – Варька не мигая смотрела на пламя свечи.

– А как же?..

Варька молчала. Молчала так долго, что Настя наконец со вздохом произнесла:

– Ладно. Не отвечай. Твоя жизнь.

– Ты не обижайся. – Варька накрыла её ладонь своей. – Я тебе верю, ты мне как сестра, но… Я уж привыкла, что это во мне живёт. Пусть уж так и остаётся. Чего теперь на старости лет языком молоть?

– Ты ещё не старая вовсе.

– Ай…

Снова тишина. За окном уже зеленело небо, близился ранний майский рассвет. Огонёк свечи забился под внезапным сквозняком, погас, и тени обеих женщин в пятне на по-

лу растаяли. В полумраке Настя поднялась, пошла к двери. Обернувшись с порога, сказала:

– Я всё-таки поесть тебе принесу. И спать ляжем. Завтра здесь с утра дым коромыслом будет.

* * *

На другой день на Живодёрке гремела свадьба. Вся улица, от Садовой до Большой Грузинской, пестрела платьями, шалями и платками цыганок, яркими рубахами цыган, отовсюду слышались гомон, смех, музыка и весёлые возгласы. Большой дом был полон гостей. С самого утра начала сходиться родня из Петровского парка, из Марьиной рощи, с Разгуляя, с Таганки, с Серпуховской и Донской застав. Стоял ясный и солнечный день, было уже по-летнему тепло, в палисаднике розоватыми волнами колыхалась сирень, отцветающие яблони сыпали на траву последние лепестки. Из распахнутых окон и дверей дома на всю улицу разносилась гитарная музыка. У ворот ещё стояла украшенная цветами и лентами пролётка: только что из церкви вернулись молодые. Их встречали в заполненной народом большой зале. Гости постарше чинно сидели за накрытыми столами, молодёжь стояла вдоль стен, толпилась в дверях, подоконники были облеплены детьми. Когда сияющая невеста и слегка растерянный жених остановились в дверях, их встретили весёлой песней. Молодые опустились на колени, и к ним подошли Настя и

Митро, который в этот день заменял отца жениха. Немного бледная Настя в атласном вишнёвом платье и шали через плечо подала Митро икону, и все присутствующие в комнате, от молодых до самого крошечного цыганёнка на подоконнике, осенили себя крестом. Стало тихо. Митро не торопясь перекрестил иконой Илюшку и Катьку. Вздохнул, улыбнулся, сказал:

– Ну что, дети… Дай бог вам сто лет жить. Счастья в ваш дом, детей, богатства, уважения. Илья, не обижай жену. Катерина, мужа слушайся. Тэ дэл о Дэвел бахт баро[15]!

– Тэ дэл о Дэвел! Тэ дэл о Дэвел! – радостно подхватили цыгане.

Молодые по очереди поцеловали икону, поднялись с колен, поклонились гостям, родителям и – немедленно разбежались. Невеста кинулась к матери и сёстрам, шёпотом, взахлёб стала что-то рассказывать, прыскала от смеха, и мать, полная цыганка в старомодном, но дорогом платье, сердито урезонивала её, прося держаться подостойнее. Жених отошёл к молодым цыганам, с хохотом захлопавшим его по плечам и спине и тут же начавшим давать какие-то важные советы, которым Илюшка зачарованно внимал. За столом возобновились разговоры, молодые цыганки сновали за спинами гостей, разнося блюда, наливая вино, убирая грязную посуду. Дети затеяли шумную игру прямо посередине комнаты, но никто не прогонял их. Митро и Настя тихо разгова-

[15] Пошли Бог счастья большого.

ривали у окна. Настя всхлипывала, Митро, притворно хмурясь, ворчал:

– Экие вы, бабы, дуры, право слово… Ну, что ты воешь? Третьего уже женишь, привыкать пора.

– К такому не привыкнешь, – убеждённо возразила Настя, доставая из рукава платок. – Ты сам уже четверых девок замуж выдал, а всё боишься, как бы икону на благословении не уронить. Ладно, слышала я, как ты Николая-угодника вспоминал…

– Так ведь, понятное дело, волнуешься… А реветь-то чего? Такую девочку за своего разбойника берёшь, такую девочку! Одно неладно – маленькая…

– Почему неладно? Она рядом с ним как куколка. И плясунья хорошая, в хоре даром хлеб есть не будет. – Настя обвела взглядом комнату, улыбнулась каким-то своим мыслям.

– Ты о чём? – спросил Митро.

– Да так… Подумала – свадьба цыганская, а половина гостей – гаджэ. Да какие гаджэ! Смотри, до чего мы с тобой под старость лет дожили, – князья с графьями у наших детей на свадьбе гуляют!

Митро усмехнулся. Действительно, за столами вместе с цыганами-артистами, кофарями с Рогожской и Таганки, сидели старые друзья цыганского дома. Это были уже люди в годах, помнившие молодую Настю, неженатого Митро, Илону – босоногую девочку, привезённую из табора. Рядом с пожилыми цыганками по-свойски расположился и галантно

наливал им вино капитан Толчанинов. За другим столом сидели граф и графиня Воронины и пятеро их сыновей – высокие, черноволосые и смуглые красавцы с холодными серыми глазами. Лишь у младшего, двенадцатилетнего худенького мальчика в гимназической форме, оказались миндалевидные, тёмные, опушённые длинными ресницами глаза матери – бывшей примадонны жестокого романса Зины Хрустальной. За роялем, окружённый смеющимися гитаристами, восседал профессор консерватории Майданов. Рядом с ним стоял Владислав Заволоцкий, известный всей столице журналист и поэт. Заволоцкий разговаривал с жизнерадостным толстячком в чесучовой паре, который бойко доказывал ему что-то, размахивая короткими ручками с унизанными перстнями пальцами. Толстячка звали Павел Арнольдович Висконти, он был известнейшим московским импресарио. Павел Арнольдович зашёл сегодня в дом на Живодёрке по делу, не зная, что у цыган играется свадьба, и его немедленно препроводили за стол с уверениями, что дела подождут, а выпить за счастье молодых сам бог велел. Висконти повелению бога противиться не стал. Сейчас его обширная лысина была покрыта бисеринками пота, и он азартно наскакивал на иронически улыбающегося Заволоцкого:

– И напрасно, мой друг, вы спорите! Поверьте старому театральному пройдохе, мода на цыган в России не пройдёт никогда! Конечно, есть итальянцы, бельканто, Ла Скала, прочая классическая храпесидия, но… Но наши баре, героиче-

ски отсидев в ложе какую-нибудь «Аскольдову могилу», с облегчением садятся на лихачей и кричат: «В табор! К «Яру»!» Почему бы это?

– По неистребимой нашей русской дремучести, вот почему, – брюзгливо отвечал Заволоцкий. – Я лично считаю, что…

Но высказать, что он лично считает, Заволоцкому помешал истошный вопль с улицы:

– Князь Сбежнев подъехали!

– О, дэвлалэ! – всполошилась Илона. – Чяялэ[16]! Гашка! Симка! Оля! Живо вина, бокал! Величальную! Гитаристы где?! Митро, что ты стоишь, как статуя, иди встречай!

Но князь уже сам входил в комнату, улыбаясь и отвечая направо и налево на приветствия. Первым делом он протянул обе руки хозяйке дома.

– Елена Степановна, добрый день! Я ещё с улицы слышал, как ты распоряжалась на мой счёт. Оставь, пожалуйста, эти церемонии, нужно быть попроще со старыми друзьями… Митро, поди сюда! Обнимемся! Мои поздравления тебе и Насте. Настя, здравствуй, девочка! Какое прелестное платье! Отчего ты раньше не носила вишнёвое?

– Вы хоть на людях не позорьте меня, Сергей Александрович! – рассмеялась Настя, протягивая Сбежневу руку для поцелуя. – Третьего сына женю, а вы мне всё «девочка»…

– А где невеста? – с интересом огляделся князь.

---

[16] Девчата.

Поднялись шум, возня, перестук каблуков, нестройный звон гитарных струн. Наконец наспех вставшие в ряд, смеющиеся гитаристы взяли дружный аккорд, и из толпы вышла смущённая, раскрасневшаяся Катька. В руках её был знакомый всем гостям цыганского дома серебряный поднос, на котором стоял бокал вина. Князь восхищённо улыбнулся, выпил вино до дна, поставил пустой бокал обратно и рядом с ним положил длинный, обшитый чёрным бархатом футляр.

– Будьте счастливы, ты, Катенька, и ты, Илья.

Подошедший Илюшка с достоинством поклонился. Катька под любопытными взглядами цыганок открыла футляр, и среди женщин пронёсся вздох восхищения: тонкий бриллиантовый браслет сверкал голубыми гранями камней. Решили взглянуть на подарок и мужчины; украшение немедленно пошло по рукам, сопровождаемое завистливыми вздохами, присвистом и щёлканьем языков. Катька, хмурясь от нетерпения, едва дождалась, когда браслет вернётся к ней, и тут же застегнула его на запястье.

– Эй, пусть теперь невеста пляшет! – завопил кто-то, и толпа тут же раздалась, освобождая пространство.

Цыгане снова похватали гитары, одновременно несколько человек запели плясовую, и довольная Катька, разведя руками, пошла по кругу. Остановившись перед Сбежневым, она низко поклонилась, приглашая его танцевать, но князь лишь молча улыбнулся. Лёгкая хромота, следствие старого ранения, не позволила ему принять Катькин ангажемент.

– Мне разве что попробовать по старой памяти… – послышался задумчивый голос, и из-за стола под хохот, аплодисменты и подбадривающие крики цыган вылез капитан Толчанинов.

Катька с комическим испугом закрыла глаза, повела плечиком, вздёрнула остренький подбородок и проплыла мимо капитана, задорно глядя через плечо. Толчанинов сощурил глаза, пригладил седые волосы. Ему было уже за шестьдесят, но, когда капитан, вскинув руку за голову, весь вытянувшись, как струна, мягкой и небрежной цыганской походкой пошёл за Катькой, ловко попадая в гитарный аккомпанемент, по комнате пронёсся дружный вздох восхищения.

– Э, Владимир Антонович, не дорога пляска, а дорога выходка! – подбодрила из-за стола графиня Воронина. – Ну, давайте, давайте романэс[17]!

Толчанинов улыбнулся ей, но чечётку бить не стал, а, дружески хлопнув по плечу жениха, втолкнул его в круг вместо себя. Катька, в свою очередь, потянула за руки двух своих незамужних сестёр, совсем девочек с тонкими косичками. Круг расширялся, в него один за другим вскакивали всё новые и новые цыгане, звенели гитары, трещал паркет под каблуками, графиня Воронина, не утерпев, выскочила из-за стола и забила плечами…

Под этот шум князь Сбежнев отвёл Настю к окну.

– Ну, вот, видишь, Настя? Уже третьего сына выпускаешь

[17] По-цыгански.

в люди.

– Да, слава богу, – рассеянно ответила та, явно думая о другом. Князь, заметив это, проследил за её взглядом. Настя через головы цыган смотрела на своего старшего сына, Гришку. Тот не плясал вместе с другими и сидел на подоконнике, обхватив колено руками и глядя в открытое окно вниз, на улицу. На его тёмном лице со сросшимися бровями не было улыбки.

– Держу пари, я знаю, о чём ты думаешь, – вполголоса сказал князь.

– Вот как? О чём же?

– О том, как все твои дети с возрастом становятся возмутительно похожими на *него*.

– Ничего тут возмутительного нет, – помолчав, возразила Настя. – Не от проезжего же молодца рожала.

Князь внимательно посмотрел на неё.

– Ты обижена?

– Нисколько. А про Гришку – ваша правда. Смешно даже, он ведь всегда на меня был похож, а как в мужские годы входить начал – так, глядите-ка, вылитый отец… Вы ещё в Париж не уезжаете, Сергей Александрович?

– Ты же знаешь, я никуда не поеду, пока не услышу твоего решения.

– Трудно мне решить. – Настя по-прежнему не смотрела на князя. – Сами видите, то ресторан, то свадьба, то теперь выезд этот в Крым…

– Что за выезд? – удивился Сбежнев.

– А вы ещё не слышали? Висконти, кажется, уже месяц Митро уламывает… Эй, Митро, Павел Арнольдович, подите к нам! Расскажите про Крым, решили уже что-нибудь?

– Стадо бухарских ишаков – просто голуби по сравнению с вашим братцем, Настасья Яковлевна! – сокрушённо произнёс Висконти, подкатываясь на коротких ножках к Насте и князю. – Я ему битый месяц толкую о выгодах этого предприятия, а он всё принимает позы античного мыслителя и говорит, что надо, мол, подождать. Чего же здесь ждать, скажите на милость, чего?! Концерты хора в городах Крыма – Ялте, Алупке, Симферополе, затем в Одессе! Железная дорога, свой вагон! Афиши, билеты, залы – всё будет!

– Очень мы там нужны кому… – сердито пробурчал подошедший следом за Висконти Митро. – Будто в Крыму своих хоров не имеется. Воля ваша, Павел Арнольдович, только я цыган в этакую даль не потащу. Денег не заработаем, только зря прокатаемся.

Висконти даже не нашёл слов и лишь всплеснул руками. Сбежнев, посмотрев на Настю, нерешительно сказал:

– Митро, я, конечно, не советчик тебе в таких делах, да я в них ничего и не смыслю, но… Pourquoi pas, как говорят французы? В Крыму летом чудесно, там собирается вся московская и петербургская публика. По чести сказать, и я с удовольствием поехал бы с вами. У меня как раз выдастся свободный месяц…

– Что там французы говорят, я не знаю, – ворчливо отозвался Митро, – но только если лето даром пропадёт, меня цыгане на части разорвут! Я рисковать не могу.

– Никакого риска! Никакого риска, поверь! – снова вмешался Висконти. – Ваше сиятельство, да помогите же мне уломать этого идола египетского! И вы очень правильно заметили насчёт публики: летом весь Питер и вся Москва выезжают как раз в Ялту и Алупку, а обе столицы стоят пыльные и пустые. Оставишь половину хора в ресторане Осетрова, чтобы у того совсем не скисла коммерция, а с прочими по железной дороге – в сказочную Тавриду! Господи, ты же ещё благодарить меня будешь!

Татарское лицо Митро выражало крайнюю степень недоверия, но он молчал. Настя, улыбаясь, смотрела на него. Она знала, что Висконти близок к победе.

От разговора всех четверых отвлёк шум, поднявшийся у дверей.

– Ещё, что ли, кто-то подъехал? – обернулся Митро. И больше ничего сказать не успел, потому что на шею ему бросилась молодая цыганка.

– Дадо!!!

– Иринка!

Гитара, неловко отставленная Митро к стене, чудом не упала на пол. Настя едва успела подхватить её за гриф и грустно смотрела на то, как обнимаются отец и дочь. Двадцатилетняя Иринка, пять лет назад выданная отцом замуж

в Рогожскую слободу, в семью цыган-барышников Фёдоровых, пришла на свадьбу вместе со свекровью, тремя невестками, пятью зятьями, мужем и двумя старшими детьми. Фёдоровы, прозванные среди цыган Картошками, стояли у порога, окружённые цыганами, сдержанно улыбались, отвечали на приветствия. Муж Иринки, красивый и рослый парень, известный всей Москве кофарь, уже разговаривал о чём-то с женихом. Свекровь, пожилая сухопарая цыганка в старомодном саржевом платье, смотрела на обнимающую отца Иринку неодобрительно, жевала губами, теребила кисти шали и, наконец, не выдержала:

– Что ты, милая, на отце повисла, как на заборе? Отойди, дай поздороваться. Поди вон на кухню, может, там помочь надо… Здравствуй, Дмитрий Трофимыч, здоров ли?

– Слава богу, Фетинья, – сухо, сдерживая досаду, сказал Митро.

Подошла Илона, начались объятия, поцелуи, расспросы. Гостей повели к столу. Митро шёл рядом с Фетиньей Андреевной, о чём-то говорил ей и украдкой оборачивался, ища глазами дочь. Но та уже скрылась на кухне, откуда слышались звон посуды и сердитые голоса цыганок.

Иринка была самой красивой из дочерей Митро, одной из всех непохожей на отца. Но и от матери она унаследовала немного. Невесть откуда у девочки взялись тонкое и строгое лицо с нежными линиями щёк, длинные, вразлёт, брови, родинка в углу рта и тёмные, с длинными пушистыми ресница-

ми, почти без белка глаза. Эти глаза, большие и блестящие, цыгане называли «печаль египетская» – за то, что веселья в них не мелькало даже тогда, когда Иринка улыбалась. У неё был прекрасный голос, сильное и чистое меццо-сопрано, «совершенно итальянское», по выражению профессора Майданова, который всерьёз предлагал Митро отдать девочку учиться классическому вокалу. Тот не соглашался, говоря, что в хоре обойдутся и без вокала, и до пятнадцати лет Иринка пела в ресторане со всей семьёй. А потом как гром среди ясного неба грянуло известие об исчезновении из дома старших детей Митро. Московскими цыганами имя Маргитки склонялось на все лады, женщины хором уверяли, что им всегда было ясно: старшая дочь Митро – шлюха, и неизвестно ещё, каковы остальные. И даже то, что Маргитка пропала бесследно и никаких доказательств её распутства не обнаружилось, не могло заткнуть болтливых ртов. Кто-то из цыган видел, как Маргитка одна ездила по городу на извозчике, кто-то встречал её в обществе Сеньки Паровоза, а некоторые даже утверждали во всеуслышание, что Маргитка бегала на Хитровку для свиданий с «этим каторжником». Репутация семьи Дмитриевых, до сих пор безупречная, дала сильный крен. Теперь Митро пришлось всерьёз думать о том, как пристраивать семерых оставшихся дочерей, из которых три уже были на выданье. Угроза того, что цыгане не захотят сватать за своих сыновей невест из семьи с дурной славой, оказалась слишком ощутима.

Раньше всех это поняли Картошки – барышники из Рогожской слободы, не особенно богатые, но жившие дружно и по старинным цыганским законам. Если хоровые цыганки из Грузин и Петровского парка позволяли себе модные шляпы, береты, туфли на высоком каблуке, садились за стол рядом с мужчинами, танцевали «танго смерти» и учились грамоте, то в семье Картошек подобное считалось «гаджиканэс»[18] и не допускалось даже в мыслях. Главой семьи была Фетинья Андреевна, вдова, сумевшая после смерти супруга удержать всех десятерых детей с их мужьями и жёнами в своём доме. Шестеро сыновей Фетиньи Андреевны с утра до ночи вертелись на Конном рынке. Дочери и невестки управлялись по хозяйству, сообща воспитывали целую роту детей разных возрастов – и всем этим правила, как королева-мать, худая, высокая, со следами былой красоты на морщинистом, сухом лице Фетинья Андреевна. При ней невестки не смели и рта открыть, её слово считалось главным в доме, взрослые сыновья полностью подчинялись желаниям матери.

Митро давно вёл дела с этой дружной семьёй «цыганских раскольников», как называли их в Москве, но, когда однажды Фетинья Андреевна пришла сватать за своего сына тогда ещё тринадцатилетнюю Иринку, отказал. Отказал в самых изысканных выражениях, сто раз извинившись и объяснив своё решение тем, что хочет оставить всех дочерей в хоре. Картошки обиделись, но ссоры не произошло: видимо,

[18] Не по-цыгански.

Фетинья сочла убедительными доводы Митро. Но когда грянуло известие об исчезновении Маргитки, Картошки снова прислали сватов, и на этот раз Митро согласился. Во-первых, сватовство таких уважаемых и «закорённых» цыган должно было восстановить репутацию семьи Дмитриевых. Во-вторых, безупречная рубашка новобрачной открыла бы дорогу к замужеству другим дочерям. Митро колебался. Илона, плача, упрашивала мужа не ломать дочери жизнь, боялась, что Иринке, воспитанной в хоровой семье, придётся тяжело у «раскольников» Картошек. Но будущее остальных семи дочерей находилось под угрозой, и Митро скрепя сердце дал согласие на свадьбу. Через неделю Иринка обвенчалась с Федькой в церкви. Через девять месяцев родила первого сына, а через пять лет у них с Федькой было трое детей.

Расчёт Митро оправдался: после свадьбы Иринки двух старших дочерей расхватали замуж в один год и ещё двух сосватали. Честь семейства была полностью восстановлена, рубашки дочерей Митро после свадеб оказались безупречны, и вскоре уже никто не вспоминал о беспутной приёмной дочери. Иринка приходила по праздникам в родительский дом, приносила недавно родившихся детей, брала крёстных для них из своей хоровой родни, ни на что не жаловалась, но и улыбки на её лице больше никто не видел. Проводив дочь, Илона рыдала в открытую, а Митро мрачно молчал. Было очевидно, что Иринке плохо в семье мужа, но что тут исправишь?

…Гришка постарался выйти из большой залы незаметно. Он тихо чертыхнулся, споткнувшись в сенях о старый сундук, подошёл к полуоткрытой двери на кухню, откуда слышались голоса цыганок, грохот посуды и шкварчание еды на сковородах. Гришка толкнул дверь, и его тут же обдало волной пряных запахов, теплом идущего от котлов пара, смехом женщин.

– Гляньте, чяялэ, какой молодец красивый заблудился!

– Гришка, дорогу потерял? На конюшню через дверь да через двор!

– Нет, бабы, он, верно, голодный, нос на запах привёл!

– Ха! У собственного брата на свадьбе голодный? С горя, что ли, не ешь, яхонтовый? Брата жалко?

Гришка отшучивался, смущённо улыбался: мужчинам в этом женском царстве в самом деле было не место. Но Варька, двигающая огромной поварёшкой в кастрюле с мясом, улыбнулась ему:

– Садись, Гришенька. Чяялэ, да накормите его, что ли! Парень с утра не евши, то в церковь с молодыми, то гостей встречай, то разговаривай с ними, то пой-пляши… Сядь, парень, поешь. Эй, кто-нибудь! Иринка, положи ему…

Гришка благодарно улыбнулся тётке Варе и сел за широкий скоблёный стол без скатерти. Одна из молодых женщин тут же услужливо убрала очистки и обрезки овощей, протёрла стол, постелила полотенце. Пока она занималась этим, Гришка сидел, прикрыв глаза, словно отдыхая, но из-под по-

луопущенных век следил за стоящей у плиты Иринкой.

Какая же она худенькая, силы небесные… Будто и не родила троих. Тоненькая, как берёзовая ветка, с маленькими руками, на запястьях просвечивают жилки, пальцы длинные, худые: гитаристкой была… С такими руками носить кольца, играть на гитаре вальсы, танцевать… А она ворочает котлы у печи. Волосы, бог мой, какие у неё были волосы! Косы ниже пояса, пушистые и чёрные, и не две, а четыре, по-котлярски, и каждая с руку толщиной… А теперь что? Прячет их под этим бабьим платком… Гришка дождался, когда Иринка наполнит миску доверху и подойдёт с ней к столу; бережно, чтобы не коснуться рук молодой цыганки, принял миску. У него был всего миг, чтобы взглянуть снизу вверх на тонкое лицо Иринки с опущенными ресницами, с тенью от этих ресниц на щеках, с темнеющей в углу губ родинкой. Всего миг он смотрел, а потом Иринка тихо сказала: «На здоровье, морэ», – положила хлеба и шагнула в сторону. Ради этого мгновения он и пришёл сюда. А прикажи тётка Варя подать ему еду какой-нибудь другой девчонке – и этого бы не случилось. Но всё равно он пришёл бы. Потому что только этими мгновениями он, Гришка Смоляков, живёт вот уже третий год. С той давней снежной зимы, с того сумрачного февральского дня, когда он зачем-то пришёл на Таганку и встретил её, Иринку, уже замужнюю, на улице.

Она была тогда почему-то одна, торопилась с корзиной овощей домой. Уже сгущались сумерки, с низкого неба пада-

ли, кружась, снежные хлопья, узкая улочка оказалась почти пуста. Им было по пути несколько переулков, и Гришка пошёл рядом с Иринкой, болтая о последних новостях на Живодёрке. Иринка нервничала, явно боясь, что кто-то из знакомых цыган увидит её на улице с чужим мужем, отвечала ему коротко и невпопад, а на углу поскользнулась на раскатанной мальчишками-мастеровыми ледяной дорожке и, ахнув, упала на колени, Гришка едва успел подхватить её. Прямо в лицо ему испуганно распахнулись огромные, чёрные, почти без белка глаза, мазнули по его щеке ресницы, выпала из-под платка пушистая прядка волос – и у Гришки пот вышибло на спине. Иринка давно уже отряхнулась от снега, давно побросала в корзину рассыпавшиеся морковки и репу, сбивчиво поблагодарила, простилась и убежала в снежную пелену, а он всё стоял на углу как вкопанный, заставляя удивлённо оборачиваться редких прохожих, то снимал, то надевал, то мял в руках шапку, ерошил засыпанные снегом волосы и со страхом, от которого хотелось заплакать, понимал: всё…

Он пришёл в тот день домой поздним вечером, на удивлённый вопрос матери ответил что-то невпопад, с досадой, как собачонку, отстранил жену, объявил, что болен и в ресторан не поедет, и после уже лежал вниз лицом на диване в пустом тёмном доме, снова и снова вызывая в памяти эти плеснувшие чернотой ему в лицо огромные, испуганные глаза. Поняла ли Иринка, что случилось с ним? Заметила

ли? Задыхаясь от отчаяния, Гришка проклинал тот день и час, когда согласился жениться. Где, ну где была его голова?! Ведь никто его в этот хомут не гнал. Матери вовсе не хотелось его женить, и сам он не собирался… Но куда было деваться от этой чёртовой куклы Анютки? Сейчас она, конечно, Анна Снежная, известная всей Москве, поёт в белом платье с замороженным лицом «Хризантемы». А тогда кем была? Русская белоголовая девчонка, Анютка Сапожникова из заведения мадам Данаи в Живодёрском переулке, племянница хозяйки, горничная в публичном доме! И бегала она за ним, Гришкой, так, что потешалась вся Живодёрка. Цыгане знали, что девчонка пришла в хор именно из-за него. А он тогда был как дурак влюблён в Маргитку и ничего не замечал. Ничего – даже того, что дорогу ему перешёл собственный отец.

Да, позже он догадался обо всём. Тогда, когда Маргитка исчезла из Москвы. Догадался, вспомнив вдруг серый дождливый день, когда в последний раз видел Маргитку. Они вдвоём стояли у калитки, и он, шестнадцатилетний, ошалевший от любви, просил:

– Убежим! Мне всё равно, что ты с Паровозом спала! Поехали! Никто не узнает! Я тебя всегда любить буду…

Она повернула к нему измученное лицо. Впервые в её взгляде не мелькнуло насмешки. Впервые в движении, когда Маргитка коснулась холодными пальцами его щеки, была ласка. А голос звучал устало:

– Дэвлалэ, ну почему ты на него не похож? Ничуть, а? И глаза, и брови – всё её…

Тогда он не понял ничего. И стоял, растерянно глядя вслед уходящей Маргитке. А на другой день она пропала, и поднялся дым коромыслом, и этот разговор напрочь вылетел у Гришки из головы. Вспомнил он о нём лишь полгода спустя, когда отец ушёл из дома. Мать ни о чём не рассказывала им, детям, но Гришка видел её сухие, воспалённые от ночных слёз глаза и догадывался: стряслось что-то страшное. День за днём он ломал себе голову над этим, а потом вдруг вспомнил последний разговор с Маргиткой. И понял всё. Ведь сначала он в самом деле был больше похож на мать, это сейчас цыгане говорят: «Вылитый Смоляко», а тогда… Мог бы и сразу догадаться. Но ведь и в голову прийти не могло, что родной отец на четвёртом десятке лет выкинет такое! Несколько раз у Гришки язык чесался поговорить о случившемся с матерью. Но та не жаловалась, больше не плакала и ничего не рассказывала. И Гришка знал: ни ему, старшему, ни остальным братьям она не позволит судить отца. А через месяц они снова вернулись в Москву, и там за Гришку опять взялась Анютка, к тому времени уже певшая в хоре сольные партии.

Полгода Анютка тратила силы впустую – он по-прежнему не обращал на неё внимания, – а потом, видимо, решила: пан или пропал, и как-то раз Гришка нашёл её у себя в постели в одной рубашке, с распущенной косой, со слезами на ресни-

цах: «Не гоните, Григорий Ильич, мне, кроме вас, никого не надобно, я в колодец брошуся…»

Григорию Ильичу тогда едва исполнилось семнадцать, а в эти годы, как известно, никакого ума не положено по закону. Именно так сказала Настя, когда наутро сияющая Анютка и изрядно ошарашенный Гришка объявили ей, что теперь они муж и жена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.